

ДЖОРДЖИА КАУФМАН



*Кружево*  
**ПАРИЖКА**

Мир – ее сцена. И она будет танцевать под свою музыку.  
Так, как умеет только настоящая женщина.

# Джорджиа Кауфман

## Кружево Парижа

### Серия «На крышах Парижа»

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69509326](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69509326)  
*Кружево Парижа: Эксмо; М.; 2023*  
*ISBN 978-5-04-191003-7*

#### **Аннотация**

Мир – ее сцена. И она будет танцевать под свою музыку. Так, как умеет только настоящая женщина.

Идеальный роман для тех, кто давно мечтал побывать сразу в пяти странах, встретиться с Кристианом Диором и найти свое роскошное платье.

Это история о бедной девушке, бежавшей из итальянской горной деревушки. Она о разбитом сердце в Швейцарии, о любви в Париже, о мечтах в Рио-де-Жанейро и поиске себя в Нью-Йорке.

Нью-Йорк, 1991. Благодаря своему изысканному вкусу и умению подбирать идеальное платье для любого случая Роза Куштатчер построила модную империю. Сегодня она готовится к главной встрече в своей жизни, примеряет платья, выбирает оттенок помады и решается рассказать свою невероятную историю.

В пятнадцать лет Роза бежала из Италии на поиски тихого счастья, а обрела его в головокружительном мире моды. Она

мечтала сшить свою жизнь по лекалу и стала музой самого Кристиана Диора.

«Я хочу рассказать тебе эту удивительную историю, ma chère. Мою историю».

# Содержание

Глава 1. Камень	6
Глава 2. Зубочистки	21
Глава 3. Тальк	30
Глава 4. Мыло	46
Глава 5. Вата	62
Глава 6. Аспирин	95
Глава 7. Номер пять	115
Конец ознакомительного фрагмента.	132



# Джорджиа Кауфман Кружево Парижа

*Моей матери Элизабет Микаэле Иде Анне  
Лоренц Кауфман, без которой эта история не  
увидела бы свет.*

Georgia Kaufmann

THE DRESSMAKER OF PARIS

Copyright © Georgia Kaufmann 2020

© Соломахина В., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Изда-  
тельство «ЭКСМО», 2023

# Глава 1. Камень

1991

Который час, ма сhère? Опаздываю. Я, как ни странно, в полной растерянности. Нет, не из-за погоды – Нью-Йорк в ноябре никогда не вдохновлял, даже в лучшие времена. Нет, не из-за того, что зимние коллекции этого года болтаются на тебе, как на вешалке, и скучноваты. Просто не могу придумать, что надеть. А что тут удивительного, ма сhère? Да, я знаю, как одеться к обеду в Белом доме, на показ мод или заседание правления, но эти события меркнут в сравнении с важностью сегодняшней встречи.

Нет, ма сhère, не уходи. С тобой мне спокойнее... тебя это тоже касается. Эта встреча может изменить нашу жизнь. Но прежде мне нужно кое-что уладить. Да оставь ты те бумаги. Это мое завещание, я его перечитывала. Мне всего шестьдесят три – умирать в мои планы пока не входит! – но, сама понимаешь, люблю быть готовой ко всему. Как я уже сказала, встреча очень важная.

Тебе ведь знакома история этого дома? Обновляя интерьеры, мы не тронули только эту ванную.

Никогда не встречала бизнесмена, который бы не считал каждый пенни. Люди, заработавшие состояние своим горбом, денег на ветер не бросают. Мои решения определяют

ся, конечно, стилем, но также пониманием структуры, материала и функции. В дизайне одежды или помещения, да во всем, главное – правильно подобрать материалы. Первым делом нужно разбираться в тканях и материалах, понимать их достоинства и недостатки. Мой выбор для этой ванной создает атмосферу.

Понимаешь, о чем я? Вся ванная выложена мрамором. Естественно, итальянским, но не потому что это моя родина, просто индийский мрамор пористый и так плохо поддается полировке, что, несмотря на непревзойденную красоту, его непрактично использовать в ванной.

Прекрасное создается только из подходящего сырья, иначе не поможет никакой дизайн. Этот же мрамор одновременно водонепроницаемый и красивый – видишь, он словно живой, с ручейками розового, красного, серого и белого, набегаящими один на другой? Мне стоило немалых усилий отыскать самый бледный, самый розовый мрамор Arabescato Orobito.

Не могу передать, сколько образцов я пересмотрела и на скольких складах, чтобы найти бледный оттенок. И ничто в мире не заставило бы меня рисковать этим мрамором, просто перенося по лестнице наверх, поэтому остановились здесь, на этой комнате. Она сильно отличается от ванной хозяина наверху. Там я представляла себе нечто величавое и безмолвное. По идее, хотелось показать, что мистер Джеймс Митчел не какой-нибудь дешевый выскочка, а чело-

век с определенным положением, понимающий толк в красоте.

О каррарском мраморе речь не шла. Сделать всю комнату абсолютно белой? Это все равно что купить одежду от-кутюр из-за марки, а не фасона, пошива и ткани. Такое подойдет толстосумам, лишенным вкуса.

Мысли путаются. Я так волнуюсь, аж до тошноты. Ну-ну. О чем бишь я? Ах да, вспомнила: Breccia Oniciata – вот что я выбрала для ванной наверху. Глянцевый бежевый мрамор с белыми, розовыми и сиреневыми вкраплениями и прожилками.

Свой образ нужно выбирать точно так же, как подходящий камень для облицовки и ткань для платья. Для деловой встречи продумать, насколько хотелось бы произвести впечатление, насколько обольстить. Если я намерена поразить деловой хваткой и силой еще с порога, то надеваю костюм от «Диора» или «Ива Сен-Лорана». Если хочу продемонстрировать свой творческий дух, мастерство и одаренность как кутюрье, то выбираю одежду, созданную своими руками. А если хочу отвлечь, пустив в ход женские чары, а потом обвести вокруг пальца, надеваю что-нибудь от «Шанель». И все это успеваю совершить, появившись и пройдя через комнату.

Но не сегодня вечером.

Нелепо, неправда ли, *ma chère*? Ты когда-нибудь видела, чтобы я ломала голову над тем, что надеть? Я никогда рань-

ше не считала свой гардероб чрезмерным. Это все от страха и отчаяния. Я должна произвести нужное впечатление, но не знаю, с чего начать.

Обычно я начинаю с ткани, *ma chère*, главное – ткань. Этому я научилась, когда впервые сделала выкройку. Берешь одну и ту же выкройку для шерсти, шелка или хлопчатобумажной ткани или кроишь ту же самую ткань по косой или по долевой и получаешь каждый раз новый фасон. Ткань выбирается интуитивно. Хлопчатобумажная означает лето, лето подразумевает отдых. Льняная ткань похожа, но более утонченная. Она легко мнется, и нужна смелость не обращать на это внимания. Шерсть напоминает о зиме, уюте и защите от холода. Шелк хорош в любое время года и всегда говорит о богатстве и роскоши. Что касается нейлона и полиэстера... ну, из нейлона шьют нижнее белье, вяжут чулки, вот пусть так и остается под прикрытием – там ему самое место.

Из дома я ушла – там, кстати, даже душа не было, и купались мы только раз в неделю, по воскресеньям, перед тем как пойти в церковь. Ушла, как говорится, с пустыми руками, если не считать потрепанного чемоданчика с двумя платьишками да нижним бельем. Постепенно с помощью таланта и тяжелого труда я создала все это. И каждый день, каждый божий день, я иду в ванную и спрашиваю себя: как мне нужно сегодня выглядеть? С кем я встречаюсь? Чего хочу достичь? Начинаю с макияжа и прически, одеваюсь и, приведя себя в порядок, готова действовать, стараясь изо всех

сил. Не полагаясь на авось.

Из меня вышел бы отличный скаут.

Мне повезло – природная внешность в сочетании с манерами и осанкой, привитыми школой Диора, принесла плоды: я хорошо выгляжу в любой одежде. И тут ничего не поделаешь. Я элегантна даже в джинсах и футболке. Если у тебя есть стиль, он сохранится, что бы ты на себя ни натянула. Но сегодня вечером? Я понятия не имею, что будет к месту, что произведет впечатление. Просто не знаю. Расскажу-ка я тебе одну историю. Длинную. Историю своей жизни. Только тогда пойму, что надеть, как подготовиться. И ты мне поможешь.

Конечно, все началось с моей матери – все всегда начинается с родителей. Я далеко не сразу поняла, что людям даже с самыми благими намерениями свойственно ошибаться, и непредвиденные последствия их поступков зачастую оставляют в душе ребенка глубокий след.

Я не выдумываю, когда я была маленькой, жили мы небогато. В тысяча девятьсот тридцатые Италия была бедной страной, и в Альпах люди едва сводили концы с концами. Крестьяне кормились тем, что выращивали. Лыжный спорт и отдых в горах еще не вошли в моду.

В Бриксене, рыночном городке, расположенном в главной долине, которая вела к Мерану и Боцену, самым крупным городам Южного Тироля, не было даже магазина игрушек. Правда, в магазине одежды, в самой глубине, на задних

полках был небольшой выбор. У нас, в Оберфальце, играли только деревянными фигурками, которые крестьяне вырезали, коротая долгие зимние вечера.

Когда мне исполнилось восемь лет, я получила от мамы на Рождество раскрашенную деревянную куклу. Платья на ней не было, но мне она все равно казалась красавицей. Я не выпускала ее из рук и назвала Элизабет, в честь маленькой английской принцессы, чей отец только что стал королем. С малых лет я умела шить и вязать. Учили не для развлечения, такие навыки были в жизни хорошим подспорьем. И вот, собрав остатки старых салфеток, полотенец и тканей, вечерами, когда мама не звала помогать в ресторане, стежок за стежком я шила наряды для своей принцессы. Сейчас уже и не вспомню, какой фасон был у первого платья, но тогда мне все нравилось.

Из старой салфетки я сшила ей платье с кружевным лифом впереди, потом белые хлопчатобумажные штаны и нижнюю рубашку. Связала носочки, упорно сползавшие с ног, и жакет.

Когда новости о предстоящей коронации отца принцессы через местную газету «Доломиты» докатились и до нас, я порезала ярко-синий с крохотными желтыми цветочками шарф, идеально сочетавшийся с моим платьем с пышной присборенной юбкой, и сшила кукле для церемонии длинный наряд со шлейфом.

Сначала я держала куклу дома, но постепенно стала но-

сидеть с собой: сначала в церковь, потом в ранце в школу. В ранец она едва влезала – ноги выпирали из-под крышки, – но я решила, что без образования будущей королеве не обойтись.

В мае, через неделю после коронации в Англии, я показывала подружке Ингрид Штимфль, как принцесса Элизабет торжественно шествовала за отцом.

Мы обсуждали, как бы пришить меховую оторочку к платью куклы. Накануне отец Ингрид принес кролика для тушенки, и она думала, что шкурка пройдет вместо горноста. Ингрид оживленно болтала, а я разглаживала шлейф кукольного платья, и вдруг она смолкла на полуслове и, смотря через мое плечо, растерянно застыла.

Я обернулась.

Сзади неслышно подкрался Руди Рамозер. Ему было всего тринадцать, но он был рослый, плотного телосложения, мускулистый, как крестьянин. К тому же смазлив – голубоглазый блондин, и чванлив без меры, ведь его отец считался самым богатым человеком в городке и приходился шурином бургомистру, герру Груберу.

– Du, Gitsch!<sup>1</sup> – крикнул мне Руди. – Во что играете?

И, презрительно усмехнувшись, подошел поближе.

– В куклы, – ответила я, глядя снизу вверх и не отступая ни на шаг.

К грубиянам я привыкла.

– Это кукла? – хихикнул он и оглянулся, не смотрит ли

---

<sup>1</sup> Девочка (нем.). – Здесь и далее прим. перев.

кто. – Больше похоже на деревяшку.

Он был старше меня, вряд ли ему нужна была кукла, хотел добраться до меня. Такой же взгляд был у отца, когда тот напивался, и я твердо знала, что нужно держаться подальше.

– Она моя, – отходя назад, заявила я. – Я тебя не боюсь, ты просто Raudi<sup>2</sup>.

– Это принцесса Элизабет.

Ингрид Штимфль – милая девочка, но соображает туго.

– Принцесса Элизабет.

Он протянул руку к кукле, но я крепко прижала ее к груди.

– Дай-ка взглянуть, – тихо проворчал он, отцепляя мои пальцы от куклы один за другим и сдавливая их в руке.

Он вырвал у меня из рук куклу и ушел.

– Завтра скажу, какой выкуп хочу за куклу.

Ингрид расхныкалась. Руди с такой силой сжимал мои руки, что они побелели и местами покраснели. Я прикусила губу. Плакать нельзя. Не дождется.

Родители не уделяли нам много времени. Мама содержала Gasthaus Falsspitze<sup>3</sup>, единственный бар и ресторан в Оберфальце. Она работала с утра до ночи не покладая рук. Кстати, это замечательное качество передалось и мне. Насколько отец был беспутным, настолько она терпеливой. Когда бар открывался, она ни минуты не сидела без дела, но обратить-

---

<sup>2</sup> Нахал, грубиян (нем.).

<sup>3</sup> Бар «Фальцшпице» (по названию горной вершины в Доломитовых Альпах).

ся было можно, а вот когда готовила, прерывать строго-на-строго запрещалось.

Она полностью отдавалась магическому ритуалу и заведенному порядку: резала, терла на терке и помешивала, двигаясь в задумчивом ритме. Наблюдать за ней было одно удовольствие.

Когда я, запыхавшаяся и растерянная, вбежала в кухню, она готовила кнедлики. Перед ней на столе лежала гора черствого хлеба, и огромный нож так и мелькал в руках, пока она кромсала булки на мелкие кусочки. По стадии приготовления можно было сверять время. Сейчас, наверное, было немногим позже трех.

– Мама, – не слишком решительно попыталась достучаться до нее я.

Помню, как металась между мучительным страхом потерять куклу и опасением помешать.

Лезвие ножа взлетело и опустилось – тук.

– Мама! – громче позвала я.

Она подняла глаза. Нож впился в подсохший хлеб.

– Мне некогда.

Из глаз у меня брызнули слезы.

– Руди Рамозер украл принцессу Элизабет.

– Кого? – после долгой паузы рассеянно спросила она.

– Мою куклу. Ту, что ты подарила на Рождество.

Она отложила нож и уставилась на меня.

– Так отбери.

– Но, мама, ему тринадцать. Он сильнее меня.

– Роза, это просто кукла. Мне некогда этим заниматься.

И снова взяла в руки нож.

На следующий день Руди Рамозер поджидал меня у выхода из школы. Он привалился к стене и болтал с какими-то мальчишками, но, увидев меня, отошел от них.

– Gitsch, хочешь вернуть куклу?

Он смотрел на меня невинными голубыми глазами, но говорил с издевкой.

– Хочу, – ответила я, не показывая страха.

– Тогда приходи к мосту. В три часа.

Ресторан располагался в самом центре, и дорога на Унтерфальц и Санкт-Мартин шла от площади, пересекала реку Фальц на выходе из городка.

После занятий в школе улицы городка пустели. Дети выполняли разные поручения и помогали по хозяйству, матери готовили ужин, а мужчины еще работали. Я была знакома с жильцами каждого дома, мимо которых проходила. Взглянула на фреску, изображавшую святого Георгия на доме Кофлеров, которой они очень гордились.

Как же я не догадалась взять с собой Кристль, сестру, или Ингрид. Хотя я была тепло одета – в шапку, шарф, перчатки и плотный вязаный жакет, – меня знобило.

Еще не дойдя до моста, я услышала мальчишечьи голоса. Руди с друзьями стояли внизу, на берегу реки, полной та-

лой весенней воды и бросали через поток камни. Я остановилась у начала грязной тропинки, ведущей вниз, и огляделась. Элизабет нигде не было видно: ни на земле, ни у него в руках.

– Где моя кукла? – в отчаянии закричала я.

– Да вот она.

Он поднял руку. Принцесса Элизабет болталась на ветке нависшего над стремниной дерева.

– Я так высоко не достану! – сдерживая слезы, закричала я.

– Я сниму, – пообещал он.

Я молча ждала, но он не пошевелился. Вода, несущаяся по камням, брызгалась фонтанчиками, искрящимися под неяркими весенними лучами. Я прикусила губу – хулиганы не жалуют слабаков. Уступать я не собиралась.

– Сначала тебе придется кое-что для меня сделать.

Мальчишки перестали швырять камни и сгрудились вокруг него, будто овцы.

Я медленно спустилась по скользкой тропинке.

Руди на голову возвышался над друзьями, а я была меньше их всех.

– Верни куклу, – потребовала я.

– Придется заработать, – хитро улыбаясь, ответил он.

На лугах выше лесополосы еще лежал снег. Мы были одни, и нас никто не видел.

Я уставилась на него, совершенно не представляя, что ему

нужно. У меня почти ничего не было, а уж того, что понравится мальчишке, и подавно. Мои книги? Вряд ли он вообще читает.

– Как? – немного погодя спросила я.

– Ну... – усмехнулся он, оглядываясь на друзей, – задери юбку.

Мальчишки загоготали.

– Что?

– Задери, – повторил Руди. – Мы хотим посмотреть, Gitschele<sup>4</sup>.

Он пристально глядел на меня, другие мальчишки улыбались, только Михаэль Штимфль, кузен Ингрид, потупил голову.

В спортзале мы раздевались до трусов и нижних рубашек, но тут было что-то другое, и я не понимала, в чем дело. Но причины для отказа не видела. Его голубые глаза словно обжигали меня взглядом. Рассудив, что в школе они все уже видели трусы, как у меня, и желая вернуть Элизабет, я подняла юбку. Мальчишки засмеялись, а у меня запыхлала щеки. Сгорая от стыда, я одернула шерстяное платье, и оно прикрыло бедра.

– А теперь отдай куклу, – умоляла я.

– Это еще не все, – издевался он. – Я не разрешал опускать платье. Теперь подними юбку и спусти трусы.

Я уставилась на него. В спортзале мы такого никогда не

---

<sup>4</sup> Девчонка (нем.).

делали. И при других девчонках тоже. Даже в туалете можно было спрятаться за дверью. Я была уверена, что это неприлично, даже грешно.

Зря я поддалась его первому приказу, глупость сделала, теперь, как всякий задира, он от меня не отстанет.

– Хватит, – ответила я и выпрямилась, чтобы казаться выше, – я выполнила твое требование, отдавай куклу.

– Не получишь, пока не сделаешь, как я сказал.

Он шагнул вперед и хотел меня схватить.

Скала под ногами оказалась гладкой и блестящей, и, пытаясь от него, я поскользнулась. Он словно клещами схватил меня за руку и потащил вверх. Я подняла камень и, вырываясь, ударила Руди изо всех сил.

По лицу у него заструилась кровь, он вскрикнул и отпустил мою руку.

Я упала на землю, потом вскарабкалась на берег и побежала без оглядки до самой булочной Рамозеров. Когда я влетела в магазин, оттуда как раз выходил самодовольный дородный мужчина – дядя Руди, бургомистр. Я проскользнула мимо него и резко остановилась, вдыхая густой сладковатый аромат дрожжей. Из-за прилавка на меня смотрел герр Рамозер, отец Руди. Из-под моего грязного платышка виднелись поцарапанные, окровавленные коленки, лицо заплаканное...

– Руди украл у меня куклу, – выкрикнула я, – принцессу Элизабет! Заставил... и все равно не отдал. Тогда я ударила его камнем. Наверное... убила.

Герр Рамозер потрясенно уставился на меня голубыми глазами.

– Что она сказала? – спросил за моей спиной бургомистр. – Убила Руди?

– Я хотела вернуть куклу, – оправдывалась я.

– Что ты сделала с моим сыном? – взревел герр Рамозер.

– Да ничего, – ответил Михаэль Штимфль, протискиваясь мимо бургомистра. – Это все Руди. Решил позабавиться. Ей ведь только восемь. Нехорошо это, гадко.

Он шагнул ко мне и вытащил из-за пазухи принцессу Элизабет.

– Вот, возьми.

Я выхватила у него принцессу Элизабет и прижала к груди. Одежда у нее порвалась и отсырела, швы разошлись. Я громко всхлипнула. И только когда добралась до дома, поняла, что сжимаю в руке камень. Я поднесла его к свету и внимательно осмотрела. Оберфальц располагался на бедной истощенной почве, которая, казалось, отслаивалась от скалы. Теперь-то я знаю, что это кристаллический сланец. Он состоит из миллионов крохотных плоских слюдяных пластинок, словно тончайших простыней из пластика, перемежающихся с кварцем и полевым шпатом, с вкраплениями твердых кристаллов граната. Сланец не такой твердый, как известняк, из которого получается мрамор. Он мягкий и слоистый. В те времена я любила отковыривать слюдяные пластинки ногтями.

Мне крупно повезло, что в камне, который я подняла, торчал довольно крупный кусок темно-красного гранита. Будь это сплошь слюда, она бы просто скользнула по лицу, и от Руди бы мне не уйти. Вместо этого он обречен вечно носить на левом виске шрам от темно-красного камня.

Речь опять о правильном выборе: даже камень, если он подходит для данной цели, сослужит вам хорошую службу.

## Глава 2. Зубочистки

Когда я вся на нервах, как сейчас, то обычно улыбаюсь. Трудно сделать вид, что ничего не происходит, когда инстинкт подсказывает: покажи зубы. Наверное, это древнейший ответ на стресс: скалиться в улыбке или хищно обнажать клыки – особой разницы нет. Зубы у меня крепкие и белые. Чищу я их почти фанатично. Чего только я не пробовала в жизни: зубную ленту и нить, шумные ирригаторы для полости рта, мини-рогатки с нитью между зубцами и новомодные крохотные разноцветные межзубные ершики, те, что покрупнее, для здоровых десен, поменьше – для воспаленных, точь-в-точь уменьшенная копия щеточки для детских молочных бутылочек. Все это требует времени и терпения: я сижу, разинув рот в нескончаемом «а-а-а», и чищу зуб за зубом, каждую расселину. Зато могу похвастаться, что зубы у меня до сих пор свои, белые, как молоко, и блестящие, словно перламутр. В детстве все было гораздо проще. У нас были зубочистки.

\* \* \*

Каждое утро после завтрака, до школы, я шла на кухню к шкафу и доставала упаковку зубочисток. В мои обязанности

входило наполнять солонки и перечницы на каждом столике, а в маленькие деревянные коробочки класть зубочистки.

Так уж сложилось, что обед, ужин или знаменитый мамин штрудель запивали напитками и рассеянно ковырялись в зубах. Таков был сдержанный ритуал на глазах у всех. Теперь я считаю, что ковыряться в зубах на глазах у всех неприлично. Зубы я чищу здесь, в укромном уголке. В детстве, когда я жила в гостинице, границы между общедоступным и личным были нечеткими, может, потому я стала оберегать свою личную жизнь.

Вряд ли до конца лета 1943 года я имела хоть какое-то представление о политической арене, мощи происходящих событий. Детям, выросшим во время войны, даже не с чем это сравнивать, для них это просто обыденность.

Лишь гораздо позже я стала понимать, что мою родину, Южный Тироль, после Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи совершенно нелепо присоединили к Италии. Пытаться привязать изначально принадлежавший Австрии немецкоговорящий альпийский Южный Тироль к Италии – все равно что пришить моей принцессе Элизабет лапу игрушечного медведя.

Когда мне исполнилось одиннадцать, семьям в округе пришлось мучительно выбирать: быть немцами или итальянцами – остаться или уехать. Два профашистских государства заключили между собой договор, перекроивший привычную жизнь. Юношам пришлось выбирать между гитлеровскими

нацистами и чернорубашечниками Муссолини.

Раскол затронул множество семей. Решивших остаться обвиняли в предательстве, выбравших переезд в Германию обзывали нацистами. Мужчины исчезали по-тихому, вступая в ту или иную армию, семьи же держали язык за зубами. Карт никто не раскрывал. Живя в горах, всегда найдется что обсудить, кроме своего позора: погоду, поздние снегопады, летние грозы, угрожавшие урожаю.

А в сентябре 1943 года все изменилось. Муссолини оттеснили на север, на озеро Гарда, где он возглавил марионеточное государство Салó, а немцы, поддавшись соблазну, захватили мою родину, Южный Тироль, объявив его частью Великой Германии. Вопрос выбора: оставаться или эмигрировать отпал сам собой, но положение еще больше сбивало с толку. Мои родители мрачно шутили, что родились в Австрии, жили в Италии, а теперь оказались в Германии, не покидая Оберфальца.

Утро было в полном разгаре, сначала до нас донесся отдаленный звон колоколов из Унтерфальца и потом ниже, из Санкт-Мартина. Герман Эгер, звонарь, всегда выбирал одни и те же мелодии. Мы знали их наизусть и понимали, что подобную какофонию просто так он ни за что бы не учинил. Лязгающий грохот металла по металлу прозвучал словно набат, который все подспудно восприняли как тревожное предупреждение надвигающейся беды.

Фройляйн Печ, учительница, выпроводила нас из школы,

предупредив, чтобы мы, нигде не задерживаясь, сразу направились домой. Мы с Кристль шли через площадь следом за герром Майером, почтальоном, сквозь встречный поток людей, выходящих из бара. Мама ждала нас у двери, которую заперла, как только мы вошли.

Лорин Майер прошел через опустевший зал к своему столику, на ходу здороваясь со стариком Хольцнером. Герр Хольцнер всегда в середине утра приходил в бар, а по вечерам ковылял домой, и мать, наверное, решила, что нарушать его распорядок было бы жестоко. Приказав подать ему кружку пива и хлеба с беконом, она принялась закрывать ставни. Как только она закрыла последнее окно у столика герра Майера, комната погрузилась в полумрак. Почтальон взглянул на нее, и они перекинулись несколькими словами.

Она не просила его уйти. Он приходил каждый день в одно и то же время пообедать и почитать газету. Холостяк, редкое явление в нашей долине.

Мне он казался стариком, но теперь, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что ему было где-то за сорок. Высокий, крепкий, плотного телосложения, но очень подвижный, он легко шагал по извилистым тропам. Мать попросила подать ему пиво, а сама пошла на кухню принести обед. Герр Майер тут же развернул газету и стал читать, потягивая пиво. Мы с Кристль играли с подставками для пивных кружек, пока она не принесла суп-гуляш и хлеб. Потом мать прогнала нас наверх.

Какое бы чувство ни вызвал колокольный звон у взрослых, нас, детей, разбирало любопытство. Через месяц мне исполнялось шестнадцать, а я дальше Бриксена нигде не бывала. В Бриксен мы ездили два раза в год, до того, как ляжет снег, и после, когда растает, и проводили там целый день. Добирались на попутной телеге пивовара, устроившись среди пустых пивных бочек.

Город располагался по обе стороны моста через шуструю реку Этч, где наша узкая долина, Фальцталь, примыкала к плоской долине Виншгау.

Весной мать покупала нам летние платья, а осенью зимнюю одежду. Мне повезло. Я, как старшая, всегда получала обновку, а сестре новые вещи доставались редко, если только оставшиеся после меня обноски не подлежали починке. Мы бродили по улицам города, восхищаясь фресками на стенах, говорившими о чувствах или о профессии домовладельца. Я никогда не могла пройти в гостиницу, не остановившись полюбоваться изображением святого Георгия, верхом на коне с силой поражавшего копьём змия, извивавшегося под тяжелыми конскими копытами.

Языки пламени, изрыгаемые из пасти змия, доходили до крыши. Поодаль от огня, над украшенным виноградной лозой входом порхали ангелы и с довольными улыбками наблюдали за подходившими посетителями. Обойдя магазины, сделав несколько скромных покупок, мы всегда обедали здесь и наблюдали, как родители пьют пиво, которым их лю-

безно угощал хозяин (этим пивом родители торговали в нашем баре). Мы ничего не знали о жизни в городе и совсем мало о мире за пределами нашей долины.

Солдаты, ворвавшиеся в нашу жизнь, пришли издалека, из-за гор, из другой страны – из Германии.

Ресторан стоял на углу площади, ближе к концу долины. От Оберфальца дорога круто шла в гору, пока не упиралась в ограждение и указатель.

Поднявшись к нам на второй этаж, мама открыла окна и закрыла ставни, оставляя их на задвижке, чтобы смотреть сквозь вертикальную щель. Мы подглядывали в щелку, прислушивались к приглушенным голосам и шагам, доносившимся с площади, и ждали.

Люди стекались на площадь. Легко было различить тще-славных, недовольных жизнью и едва сводивших концы с концами. Груберы стояли рядом с Рамозерами – Руди с братьями в кожаных штанах, его сестры в платьях с широкими присборенными юбками, – все выстроились по росту в плотных вязаных жакетах и размахивали флажками со свастикой. Рядом стояли герр и фрау Деметц, владельцы бакалейного магазина. Одни за другими явились семейства Кофлеров, Холлеров, Обристинов и Малькнехтов. Пришли крестьяне в синих фартуках, чьи скромные земельные наделы не обеспечивали их большие семьи. Родителям и старшим детям приходилось наниматься на подработку к богатым хозяевам.

Они в потрепанной одежде и с голодными лицами вышли на площадь, ожидая перемен.

Сначала с дороги, лентой вьющейся из долины Виншгау в Фальцталь, донеслись звуки моторов. Потом на площадь въехали два мотоцикла, три грузовика и большой «Мерседес». Машины припарковались аккуратным рядком. Из грузовиков выпрыгнули люди в форме с мешками и снаряжением, и на мгновение на площади возникла неразбериха. Но через несколько секунд военные заполнили обычно пустовавшее пространство, где нет-нет да мелькали бродячие кошки, собаки и вдовы в черных одеяниях, спешившие на церковную службу или обратно.

И снова воцарилась тишина.

Солдаты построились аккуратными шеренгами по обе стороны от командира и вытянулись по стойке «смирно».

Мне было понятно, зачем они сюда прибыли. Хотя Оберфальц располагался в тупике, одна узкая и опасная тропа вела через горы в Швейцарию. Многие годы по ней уходили те, кто не желал жить под властью немцев.

Гауптман, прикрытый с флангов солдатами, заложил руки за негнущуюся спину и ждал. Из толпы зевак появился бургомистр Грубер. Склонив голову и съежившись, он неуверенной походкой подошел к гауптману.

Мы, сгрудившись у окна, наблюдали, как Грубер остановился и настраивался приветствовать гауптмана, застывшего, словно статуя святого Мартина в храме в нижней долине.

Я зачарованно и столь же испуганно следила за происходящим. Пару раз мы встречали в Бриксене итальянских солдат, но всегда случайно. От этого отряда военных машин и суровых немецких солдат с винтовками, нацеленными в небо, становилось не по себе.

Никто так и не узнал, какой между ними состоялся разговор, только, когда гауптман наклонился к нашему пухленькому бургомистру, с того медленно слетели показная напыщенность и уверенность, и когда он согласно кивнул и обернулся к собравшейся деревенской публике, то был полностью обескуражен. Даже из окна я увидела, что его обычно румяное и самодовольное лицо побелело и щеки обвисли, словно бледные куски жира. Жребий брошен, он сделает все, что прикажут немцы, спокойно, молча, невозмутимо.

– Meine sehr verehrten Damen und Herren<sup>5</sup>, – начал он безжизненным голосом. – Кто поможет нам обеспечить жильем фельдфебеля и этих славных юных солдат?

Не услышав откликов, он повернулся к солдатам:

– Предлагаю отобедать в нашем отличном ресторанчике, пока мы распределим квартиры.

Он повел гауптмана к нам, а фельдфебель и двое солдат направились следом за герром Рамозером.

Мы ринулись вниз.

Мать без колебаний пошла открывать дверь.

– Роза, – тихонько попросила она, – убери со стола герра

---

<sup>5</sup> Уважаемые дамы и господа (нем.).

Майера.

Потом, глубоко вздохнув, повернула ключ в замке и изобразила приветливую улыбку.

Только тогда я поняла, что почтальон ушел. Наверное, выскользнул через черный ход. Я бросилась к его столику и остановилась. Ставни были распахнуты – он смотрел в окно. На столе остался недоеденный гуляш и полкружки пива.

Коробочка с зубочистками была перевернута вверх дном. Зубочистки лежали двумя аккуратными кучками на бледно-зеленой скатерти. Похоже, герр Майер взял всю пачку и переломил пополам. На это требовалось немало сил. Некоторые деревянные кончики окрасились кровью.

## Глава 3. Тальк

Ну вот, кожа высохла, крем впитался – и я вновь ожила, полна сил. А теперь – тальк, первое косметическое средство, с которым сталкиваются очень многие. Матери присыпают детские ножки между пальчиками, нежные пухлые складочки, чтобы кожа ребенка оставалась безупречно мягкой и гладкой. Только понюхай, *ma chère*, этот сладкий аромат младенчества. Тальк выпускают не в легко бьющихся стеклянных флаконах, а в простой картонной цилиндрической упаковке. Но не ошибись, выбрать хороший тальк так же важно, как и духи. И пусть никто не видит, где ты его применяешь, коснись пуховкой меж пальцев ног или в жаркие дни, когда испарина угрожает нарушить мерцание и плавность линий шелка темным пятном, пройди пуховкой с тальком под бюстгальтером, проведи легким движением по плечам...

Но выбирай только качественный: слишком душистый перебьет твой парфюм, слишком грубый оставит след. Тальк должен пахнуть свежестью, порошок должен быть высокого качества, хорошо измельчен, полупрозрачный, а не белый, как мел.

У меня два вида талька: с ароматом розового масла – на те дни, когда я остаюсь дома, второй, признаюсь, детский.

Во время войны, после нашествия немцев, тальк стал одним из постоянно растущего списка необходимых, но недоступных товаров.

Мы, оказавшиеся в тисках между Южной Италией, освобождаемой союзными войсками, и немцами, мертвой хваткой державшими северные земли, зависели от контрабандных пакетов, оставляемых тепло укутанными людьми на горных летних пастбищах в деревянных сараях, где ночевали коровы. Узкая тропа через перевал в Швейцарию расширилась – так много шло по ней усталых путников. Не только контрабандистов, но и напуганных нацистами голодных беженцев.

Столько всего запретили, что лучше бы этого не было вообще.

Отобедав в нашем ресторанчике, гауптман уехал из деревни, оставив вместо себя фельдфебеля. В тот вечер местное мужское население сидело в баре, не притронувшись к пиву и картам. Разговор с тревогой в голосах и на повышенных тонах шел о послеобеденных событиях. История добралась и до нас.

Около семи вечера в баре появились фельдфебель и его спутники и остановились на пороге. Деревенские поглядели на незваных гостей и молча уткнулись в свои кружки. Увидев пустой столик герра Майера, фельдфебель с двумя солдатами устремился к нему. Они шли через комнату, оставляя за собой слабый неприятный душок.

Обычно столики обслуживаю я, но на этот раз мать меня опередила. Ее голос донесся до меня из-за стойки бара. Не то чтобы недружелюбный, но без какой-либо теплоты. Стараясь не смотреть на солдат, она перечислила знакомые блюда. Фельдфебель был необъятных размеров, что ростом, что вширь, настоящий громила. Солдаты были едва ли старше меня: один – худощавый и нервный, второй красив, как арийский бог. Он затмил всех местных мальчишек. Оба держались сурово, напряженно выпрямили спины, словно принуждая себя сидеть спокойно. Я послала сестру отнести зубочистки.

Она вернулась и брезгливо сморщила нос.

– От него воняет.

Вот так, сам того не подозревая, фельдфебель Шляйх захватил столик герра Майера. Почтальон жил в Санкт-Мартине и обычно по пути останавливался в баре, потом разносил почту по всей долине, зимой карабкаясь по коварным тропам до крестьянских хозяйств, прилепившихся на заснеженных склонах, летом спускаясь с гор под проливным августовским дождем, прибавившим в полях стога сена.

До появления нацистов он обедал у нас каждый день за самым дальним столиком от входа. Оттуда открывался красивый вид на площадь и входящих в бар клиентов. Фермеры, спускавшиеся в долину за покупками и запасами, заглядывали в бар хлебнуть пивка и перекинуться словом с почтальоном, узнавая, нет ли для них известий. Ежедневный обед

в баре избавлял его от многих часов слепополуденных путешествий, когда крестьяне, живущие высоко в горах, узнаваемые по загорелым обветренным лицам, традиционным синим фартукам и фетровым шляпам, подходили к его столику, здоровались, прятали в карманы свои и соседские письма, прежде чем отправиться по крутым склонам домой.

Но после появления Шляйха и его солдат герр Майер не показывался у нас целую неделю.

Шляйх посчитал столик своим. Придя в бар, он отодвигал стол и тяжело плюхался всей тушей на деревянную скамью, проходившую вдоль стены. Потом хватал меню и, прищурившись, косился на него поросычьими глазками на обтянутом розовой кожей лице. Мы с друзьями прозвали его Фельдфебель Вонючка.

Куда бы он ни направился, неприятный запах сообщал о его прибытии и долго не исчезал после ухода. Между собой мы решили, что он напоминает вонь испортившегося сыра.

Лорин Майер вновь появился в баре за своим столом и заказал гуляш и кнедлики. Все радостно приветствовали его возвращение, и минут через пять он уселся за столик.

Едва он сделал первый глоток и, смакуя, остановился передохнуть, как все любители пива, в дверях возник фельдфебель, загородив собой свет. Едва переступив порог, Шляйх заметил за столиком почтальона и остановился как вкопанный. Его лицо ничего не выражало. Потом он неторопливо подошел к столику, как всегда, в сопровождении двоих сол-

дат.

– Это мой столик, – сказал он с мелодичным, певучим швабским акцентом, совсем не вязавшимся с его массивной фигурой.

Герр Майер поднял на него глаза и потянулся к кружке.

– Здесь вам каждый скажет, что стол принадлежит фрау Куштатчер, а я, как постоянный клиент, сижу за ним уже много лет.

И, не сводя с фельдфебеля глаз, сделал большой глоток.

Солдаты, стоявшие за спиной фельдфебеля, похоже, пожалели, что пришли сюда.

– Spieß?<sup>6</sup> – начал было высокий красавец.

Как разузнали деревенские, звали его Карл Хайнц Кёлер. Шляйх застыл и положил руки на спинку стула, глядя на почтальона. Герр Майер отломил кусок хлеба и опустил его в стоящую перед ним тарелку с густой красной подливкой. Он наклонился, поднимая хлеб ко рту, и медленно проговорил:

– Как уже сказал, я сижу за этим столиком много лет. Это мое постоянное место. Конечно, я не возражаю, если вы будете им пользоваться в мое отсутствие, но сейчас попросил бы вас уйти. Гуляш стынет.

И откусил кусок хлеба с подливкой.

В зале все слышали слова почтальона, и фельдфебель это понимал. Он потянулся к ремню, на котором, как мы знали, крепилась кобура с пистолетом. Тогда худой неряшливый

---

<sup>6</sup> Фельдфебель (нем.).

солдат наклонился и что-то зашептал ему на ухо.

В зале повисла тишина, пока до фельдфебеля не дошли слова долговязого рядового. Они, видимо, подействовали, и военные повернулись к выходу. В обед еще никто не знал имени солдата, но к вечеру мы все восхваляли рядового Томаса Фишера.

В дверях фельдфебель остановился и оглянулся на почтальона, будто хотел что-то сказать. Я как раз принесла герру Майеру пиво – подарок от матери в знак восхищения. Пока я шла к барной стойке, фельдфебель проводил меня взглядом, и внутри у меня все перевернулось. У него было странное лицо: розовая отмытая кожа, маленькие острые голубые глазки на широком обрюзгшем лице и едва заметная полоска выбритых пепельно-коричневых волос, торчащих из-под форменной фуражки. Он был больше похож на младенца, чем на мужчину, но меня пожирал взрослым оголодавшим взглядом.

Это теперь я могу отклонить нежеланное вожделение, легко пожав плечами, или, наоборот, поощрить взглядом. А тогда я была не готова к безумным страстям, они меня тревожили.

Жизнь постепенно вошла в колею. Герр Майер появлялся два-три раза в неделю и садился за столик. В другие дни он поднимался в горы к крестьянским наделам, выполняя свою работу. Каждый день после того, как церковные колокола отбивали полдень, на пороге ресторана появлялись ли-

бо Кёлер, либо Фишер, осматривали бар и уходили. Когда столик был свободен, они возвращались вместе с фельдфебелем. Если за столиком сидел почтальон, они обедали у Страйтбергеров.

Вспоминая то время, не могу не восхититься, как легко мы приспособивались к жестоким обстоятельствам. Будь то военный переворот, хватающий демократию мертвой хваткой за горло, или дружественное вторжение, вскоре все кажется нормой, и мы забываем, что можно жить по-другому. Лишь единицы, вроде Лорина Майера, могли пресечь издевательства фельдфебеля. Остальные старались услужить, угощали пивом и кексами, узнав, что он сладкоежка, и занимались своими делами.

А для нас, детей, продолжалась обычная жизнь, разделенная между школой и домашними делами. Мать запретила мне вступать в новую нацистскую молодежную группу, основанную рядовым Кёлером. Другие девчонки только о нем и говорили, но мать сказала, что я нужна ей в баре. В итоге я видела его почти каждый день с Фишером и фельдфебелем. Я быстро научилась подавать еду через стол. Подходить ближе было невыносимо.

Обслуживание этой троицы научило меня разбираться в мужчинах. Фельдфебель не сводил с меня глаз, едва я делала шаг в их сторону. Он смотрел так пристально, что я всегда чувствовала на себе липкий шлейф похоти. Кёлер лучезарно улыбался и подмигивал, но не знал даже моего имени, да оно

его и не интересовало – он жаждал поклонения. Фишер был из другого теста: он один замечал мою скованность. Не прошло и дня, как он обращался ко мне по имени, всегда вежливо, не забывая «спасибо» и «пожалуйста», и, когда фельдфебель тянул ко мне жадные руки, рядовой Фишер всегда ухитрялся оказаться между нами.

Мать ничего не замечала, а отец обычно уже был пьян, и, кроме очередной бутылки пива, его ничто не занимало. В Оберфальце все знали, что мой отец – пьяница и в карты играть не умеет. В баре посетители давали ему выиграть, чтобы он купил себе выпивку. К матери все относились хорошо. Мама пыталась ограничивать отца, настаивая, чтобы он платил за пиво, как другие клиенты.

Шляйх тоже оказался картежником. В первую неделю он играл с подхалимами – бургомистром, Рамозерами и прочими дураками. Играя, он словно уменьшался в размерах. Горбился над огромным брюхом, сжимая карты толстыми, как сосиски, пальцами, пристально следя за игрой. Он не отличался выдающимся умом, просто был внимателен, однако его партнеры под разными предлогами отказывались от игры. Через две недели с ним никто не играл.

Все началось с одной небольшой партии. Однажды солдаты отправились спать, а Шляйх задержался и, потягивая пиво, наблюдал, как я собираю кружки и грязные тарелки, убираю мусор и меняю скатерти. Отец с видом умирающего от жажды нервно сидел у бара с пустой пивной кружкой с

подсыхающей пеной. Мама нарочно оставила ее на стойке, намекая, что на сегодня пить хватит.

Я не видела, как это получилось, только, когда вышла из кухни, отец уже резался со Шляйхом в карты. Тот проиграл, купил отцу пиво и опять проиграл.

Пару дней после этого он не прикасался к картам, но затем игра возобновилась.

В первый день Шляйх выиграл с трудом, во второй отец его разгромил, и потом они играли каждый вечер. Даже тогда Шляйх проигрывал. Вскоре мать поняла, что отец в обед уходил в Санкт-Мартин и пил там в баре, просаживая выигрыш.

И вдруг полоса везения прекратилась. Днем отец ходил в Санкт-Мартин и теперь потчевал постоянных посетителей сплетнями из большой деревни. Он даже не смотрел на карты, но после нескольких партий умолк.

Горка монет, которую мы в последние несколько недель привыкли видеть с его стороны стола, исчезла. Зато Шляйх укладывал перед собой все новые кучи. Он не разгромил отца мгновенно, а растянул пытку на весь вечер, а горки монет кочевали с одной стороны на другую. Однако они всегда возвращались к Шляйху. Выигрывая, отец терял осторожность и удваивал ставки. Некоторые посетители стояли вокруг стола, молча потягивая пиво. Я устала, но тоже не могла оторваться от зрелища. Отец ссутулился на стуле в позе проигравшего, сжимая в руке карты. Шляйх, наоборот, выпря-

мился, насколько позволяла фигура, весь внимание, нежно держа карты толстыми пальцами.

– Сегодня удача от вас отвернулась, – заметил он и сложил веер карт.

– Она еще вернется, вот увидите, – ответил отец.

– На вашем месте я бы остановился.

Шляйх медленно, одну за другой открыл веером карты.

– Нет. Играем дальше. – Отец взглянул на аккуратно сложенные горки монет. – На все эти.

– А вы что поставите? – небрежно спросил Шляйх, выравнивая края карт.

– А вы чего хотите? – глухо спросил отец.

– О, немного. Жареную курицу.

– Что? И все?

Отец облегченно выпрямился. Он улыбался, явно считая Шляйха глупее, чем он думал.

– Самую жирную, самую сочную, – глядя на меня, ответил Шляйх.

Я пулей выскочила в кухню.

На следующий день отец проснулся поздно. После завтрака он вошел в кухню в поисках синего фартука.

– Пора доить коров, – заметила мать, не сводя глаз с готовящихся блюд.

– Не сейчас. – Он помолчал, и я увидела капельки пота, выступившие на лбу. – Я иду за курицей, – выпалил он.

Мать оторвала взгляд от плиты и сосредоточилась на нем.

– Чего это вдруг?

– Для Шляйха.

– Что?

Она отложила нож и уставилась на него.

– Он выиграл у меня жареную курицу, – небрежно сообщил отец, как что-то не стоящее внимания, и выскочил за дверь.

Дома в те времена строили традиционно: первый этаж отводили под сарай для домашних животных, жилые комнаты располагались на верхних этажах. Парадный вход с площади вел в бар и ресторан, боковой – в теплый сарай, где мы держали коров, свиней и кур. Мать выскочила вслед за отцом в коридор, который вел к конюшне, мы с Кристль следовали за ней. Когда мы вошли в сарай, отец держал за ноги Труды, мамину любимицу, молодую курицу с блестящим коричневым оперением, которая громко кудахтала. Труды каждый день давала одно яйцо и ни разу не подвела. Среди кур она была самой упитанной.

– Только не Труды, – умоляла мать, дико озираясь на других кудахтающих кур. – Возьми Лотти, она стареет.

Он с хлопавшей крыльями птицей метнулся мимо нас в чулан, где мать держала топор и деревянный брусок для рубки мяса.

– Он выиграл у меня самую сочную, – сообщил отец, не глядя матери в глаза, и положил протестующую Труды на

брусок.

– Ты сумасшедший? Проиграл все деньги, а теперь ставишь на кон моих кур?

Труди кудахтала и била крыльями.

– Я почти отыгрался, – возразил отец.

Его голос затерялся в птичьем гомоне.

– «Почти»! Да ты все продул!

На лице у него на секунду мелькнуло виноватое выражение, сменившееся гордостью.

– Мужчина должен платить долги.

Он взглянул на мать, вызывающе поднял топор и резко опустил. В сарае наступила тишина.

– Это вопрос чести.

Отец уронил обезглавленную птицу на пол, и она молча побежала, кувыряясь и снова вставая.

– Дурак, – ответила мать и посмотрела на бьющуюся на полу птицу. – Неужто не понимаешь, Норберт? Шляйх с тобой играет. Он будет всегда побеждать.

Но как только отцу начинало везти, он сразу забывал о последней игре, о ясной схеме, которую видели все остальные. Как только он начинал выигрывать, удача покидала его, но он все равно играл. Со временем он потерял все ценности: фетровую шляпу, красивый посох, вырезанный для него дедом, аккордеон, охотничий нож.

В те ночи они с фельдфебелем засиживались до трех-четырёх утра. На следующее утро мы просыпались под ярост-

ное шипение матери, пытавшейся поднять отца с постели.

Однажды ночью они сыграли на мою мать. На следующее утро отец был в приподнятом настроении: смеялся, с необычной нежностью доил корову, тягая за вымя, бахвалился, как хорошо играл, и клялся, что никогда не позволит Фельдфебелю Вонючке прикоснуться к его женщине.

Мать перестала с ним разговаривать. И Шляйх перестал играть, говоря, что потерял интерес, что, мол, часто проигрывает. Отец донимал его, уговаривал, пока тот равнодушно не согласился играть снова.

Однажды ночью в конце декабря – не люблю вспоминать дату – отец разбудил меня, дергая за руку.

– Пойдем со мной, – бурчал он и тянул за ногу.

– В чем дело? – пробормотала я.

– Ни в чем. Только тихо.

Он потянул сильнее.

До меня, сонной, донесся слабый запах едкого алкоголя, которым он весь пропах. Я встала и набросила на плечи шаль.

– Там с коровой неладно, – буркнул он. – Мне нужна твоя помощь.

Мы спустились в бар и пошли по холодному каменному коридору к сараю.

– Я опять проиграл, – проболтался он, поворачивая дверную ручку и открывая тяжелую деревянную дверь.

И, обняв меня за плечи, подтолкнул в сарай.

– Это вопрос чести, – заявил он и закрыл дверь.

Слушай, *ma chère*, я вся дрожу. Даже сейчас, спустя столько лет, мне не хочется открывать дверь в то воспоминание. Я бы никогда не рассказала тебе следующую часть, *ma chère*, но тогда будет непонятен весь дальнейший рассказ. Ты ничего не поймешь, если не войдешь со мной в ту дверь. Прости меня и не бросай.

Я в полном замешательстве стояла в темноте. Какое отношение имеет честь к больной корове... что он вообще делал в коровнике глубокой ночью?

Наверное, у меня обострилось чутье, пока я ждала, чтобы глаза привыкли к темноте, потому что в знакомый густой сладковатый запах животных вклинился неприятный душок. Отвратительно пахло протухшим сыром, и я замерла от страха. Сердце у меня бешено заколотилось, я вглядывалась в темноту, где начали проступать отчетливые формы и тени. Кто-то прятался около одной из коров.

Неожиданно все стало понятно. Фельдфебель Шляйх стоял на коленях у коровы, сжимая рукой вымя. Густые белые ручейки текли у него из открытого рта.

– Что вы тут делаете? – прошипела я.

Даже теперь я не отважилась поднять шум и нарушить приказ отца.

– Сливки снимаю, – ответил он, тяжело поднимаясь на ноги и шагая ко мне.

Я, конечно, попыталась уйти, но он действовал на удивление ловко и проворно. Оттолкнув меня в сторону, он вставил в замочную скважину оставленный, вероятно, отцом ключ и повернул его. Держа ключ подальше от меня, спрятал его в карман. Приподнял край форменной рубашки и небрежно достал из кобуры пистолет. Я открыла рот, чтобы закричать.

– Тихо, красотка, – пропыхтел он. – Ты же не хочешь, чтобы отец получил нагоняй от матери.

– Отпустите меня, прошу вас, – умоляла я, слыша, как отец тужился и блевал в коридоре, а потом его удаляющиеся шаги.

Фельдфебель скрутил мне руки за спиной и, приставив ствол к пояснице, толкнул к сему, выброшенному из кормушки.

Побороть его я не могла. Ничего бы не получилось, он был гораздо сильнее. А вот царапаться и кусаться могла. Разодрав ногтями рубашку, я изо всех сил впиалась в его тело зубами. У него были груди, складки пухлой плоти, поглощавшие все мои усилия, когда я на него набросилась.

Таких толстых людей я никогда не встречала. Он быстро прижал меня к животу так, что я не могла ни охнуть, ни вздохнуть. Думала, задохнусь.

И перестала сопротивляться.

Потрясенная и подавленная, я понимала, что он мог за просто меня убить.

Закрыв глаза, я пыталась притвориться, что нахожусь где-

то в другом месте, но меня преследовал этот невыносимый запах. В горах у нас есть словечко *schirch*, которое по-немецки означает «мерзкий», но оно включает в себя гораздо больше. Фельдфебель был омерзителен. И не только из-за жира, как у кита, но и отвратительного кисло-сладковатого душка, который мне приходилось вдыхать, когда он навалился на меня всей тушей. Я отвернулась к соседнему загону со свиной и визжавшими поросятами.

И где-то там, в темноте, на сене, мне пришло в голову, что ему нужно пользоваться тальком. Неприятный запах исходил от жировых складок, которые не удавалось хорошенько промыть и высушить; такой запах иногда исходил и от моего пупка; если бы мать в детстве с любовью присыпала кожу сыночка тальком, он бы на меня не набросился. Ох, *ma chère*, страшнее той ночи в моей жизни не было, а я в конце думала о том, как людям нужна добрая мать.

## Глава 4. Мыло

Видишь, у меня здесь несколько кусков мыла: для умывальника, биде и душа. Для рук я выбираю мыло ручной работы из животных и растительных жиров. В основе хорошего мыла всегда говяжий жир, оливковое масло для мягкости и кокосовое для пены. Все остальное – аромат, цвет – бутафория. Конечно, внешний вид и аромат тоже имеют значение, *ma chère* – и не мне это оспаривать. Но ощущение кожи после мытья гораздо важнее. Если внешность считать произведением искусства, то моя мягкая кожа – просто шедевр. Спроси слепого: королева всех чувств – осязание. Для биде, конечно, я выбираю мыло с мускусным запахом, а вот для душа – без аромата. Лучше не мешать запах мыла с кремом и парфюмом.

Во время войны мы были лишены такой роскоши. Иногда нам перепадала упаковка мыла из Рима или Милана, но вообще этот товар было не достать. Купание и в хорошие времена требовало смелости: зимой на холоде, летом в тепле мы стояли с мочалками вокруг кремового таза с отколотыми краями и драили себя до чистоты.

Когда наш край захватили немцы, запасы мыла быстро закончились. Теперь, оглядываясь назад и зная, какой жир нацисты использовали для варки мыла, думаешь, что это к лучшему.

Мать варила мыло и до войны – случайная блажь в память о бабушке. Во время войны прихоть превратилась в еще одну обязанность. Всякий раз, находя в лесу на земле березовые ветки, единственное местное дерево, мы приносили их домой и жгли, превращая в золу. А если мать из поездок в долину привозила ветки дуба или каштана, то просто свети-лась от счастья.

Нашей с сестрой обязанностью было выметать из камина остывшую золу и ссыпать в особую бочку на каменном постаменте. Когда бочка наполнялась, мать пилила отца, пока он не заливал золу дождевой водой, которая собиралась в другой бочке. Получался жидкий щелок, едкая бурая жижа, прикосаться к которой мы отучились очень быстро. Она стекала через желоб в подставленное ведро.

Мы с Кристль тщательно выскребали с грязных тарелок каждую каплю свиного и говяжьего жира в большой молочный бидон. Когда и он заполнялся, мама топила жир в огромной железной кастрюле, наливая воду и вылавливая остатки мяса и кости. Потом добавляла щелок, а мы выкладывали на кухонных столах длинные ряды деревянных формочек для мыла.

Каждая формочка была уникальна, вырезанная деревенскими умельцами долгими зимними вечерами. Мама никогда не добавляла отдушку. Мыло у нее получалось гладкое и твердое. Мы пользовались им на кухне для мытья посуды, для стирки белья и в ванной, чтобы привести себя в поря-

док. Одежда, кастрюли, сковородки и мы сами – все пахли одинаково, воском. Но действовало мыло замечательно. Все сияло чистотой.

\* \* \*

Справедливости ради надо сказать, что происшествие надолго выбило меня из колеи. Фельдфебель бросил меня в сарае около свиней настолько оцепеневшей, что я не могла ни пошевелиться, ни закричать. Сам акт насилия четко отложился в памяти, что было потом, я не помнила. Все происходило как в тумане. Не знаю, сколько я пролежала неподвижно на соломе, будто выброшенная кукла, но в конце концов прошла через бар наверх в ванную. Я мылилась и мылась снова и снова, наполняя водой тазик за тазиком, меняя мочалки, обмываясь, намыливаясь, снова поливаясь водой. Вся в синяках, дрожа, едва держась на ногах. Кровь и сперма исчезли с первого раза, но я никак не могла остановиться, стирая не только потные, неприятные следы, но саму память о нем на мне, моей коже, во мне – все это хотелось смыть.

Тут и застала меня мать: обнаженной в ванной около тазика с водой с мочалкой в одной руке и маленьким кусочком мыла в другой. Будто бы не заметив меня, она сразу же разглядела обмылок.

– Что ты делаешь? – воскликнула она, не скрывая раздражения. – Я только вчера выложила тот кусок.

Я так и не поняла, почему она не заметила моего заплаканного лица, синяков на коже, дрожи. Просто шагнула мимо, к умывальнику, и открыла кран. Даже в зеркало не посмотрелась. Как всегда, слишком озабочена или слепа, чтобы мне помочь.

– Ты собираешься одеваться или нет? – быстро спросила она, выхватив из моей руки обмылок и намыливая лицо и руки. – Приведи себя в порядок и спускайся. Сегодня тяжелый день.

Вниз я не пошла, легла в постель. И три дня не вставала, просто лежала в изнеможении, не ела, не спала и то и дело плакала. Мать принесла суп, потрогала мой лоб и нахмурилась. Отец не появлялся.

На третий день, когда ресторан закрылся на послеобеденный перерыв, в доме словно взорвалась шаровая молния. Родители были на кухне, но от их криков сотрясались деревянные полы и стены. Мамины вопли смешивались со звоном кастрюль и сковородок.

А потом наступила тишина. Долгая тишина, прежде чем хлопнула дверь и на лестнице послышались мамины шаги. Она остановилась за дверью моей комнаты, ручка слегка повернулась. Мне никогда не узнать, пыталась ли мать унять ярость или боролась с чувством вины, но я воспользовалась паузой, чтобы повернуться к двери спиной.

Наконец дверь, скрипнув, открылась.

– Прости, – сдавленным голосом, какого я не слышала

раньше, сказала она. – Я должна была догадаться.

Я молчала, слушая ее тяжелое дыхание. Через минуту она вздохнула и пообещала:

– Я заставлю твоего отца смазать петли.

И пошла вниз убирать кухню.

После этого мать оставила меня в покое и несколько недель не настаивала, чтобы я помогала в баре. Я стала затворницей, перечитывала немногочисленные книги, что нашлись дома, или просто смотрела на стену, изо всех сил стараясь все забыть. Мать сообщила, что фельдфебелю вход в ресторан заказан, но прошло немало времени, прежде чем я смогла показаться в баре. Появившись там, я, к своему удивлению, обнаружила много изменений. Почтальон больше не сидел один за столиком, а увлеченно беседовал с прежде неразговорчивым рядовым Томасом Фишером.

Я спросила об этом сестру, и она подтвердила, что они обедают вместе с тех пор, как перестали приходить фельдфебель и Кёлер.

В тот день я не работала, просто постояла несколько минут за барной стойкой, наблюдая за посетителями. Видят ли они то, что укрылось от матери? Некоторые постоянные клиенты поинтересовались, как я себя чувствую, радуясь, что я выздоровела.

Их нехитрые вопросы убедили меня, что они ничего не подозревают. Лишь облегченно вздохнув, я поняла, насколько

ко сильно завишу от чужого мнения, и, поднявшись к себе, обнаружила, что шум и суета бара куда приятнее тишины спальни. На следующий день я вернулась к работе.

Это пошло мне на пользу. Бесконечные заказы хлеба, пива, ветчины и кнедликов на время вытеснили вонючего фельдфебеля из головы.

В обед я подошла к столику герра Майера и, поздоровавшись, впервые почувствовала, что улыбаюсь единственному человеку во всей долине, который не подчинился Шляйху.

– Роза! – воскликнул он, откладывая газету. – Вернулась!

Он выпрямился и окинул меня теплым, все понимающим взглядом. Потом поднялся и, наклонившись через стол, стараясь не касаться меня, шепнул на ухо:

– Он за это заплатит.

Снова выпрямился и посмотрел в глаза.

Блокнот у меня в руках дрогнул. От стыда хотелось бежать куда глаза глядят. Но, встретившись с почтальоном взглядом, я поняла, что не вызываю у него отвращения, напротив, он меня жалеет.

Я крепче схватила блокнот, пытаюсь взять себя в руки и надеюсь, что никто не смотрит. Мысль о том, что кто-то обо всем знает и сочувствует, ошеломила меня. Слезы наворачивались на глаза, и я только кивнула. В ответ он тоже кивнул, сел за столик и как ни в чем не бывало взял газету.

– Кружку пива и griessnocken mit steinpilze<sup>7</sup>, – заказал он

---

<sup>7</sup> Манные кнедлики с белыми грибами (нем.).

обычным голосом.

Я пыталась повернуться, но ноги не слушались, не могла посмотреть в глаза остальным.

Он поднял голову.

– Роза Кусштатчер, – лицо у него оставалось безмятежным, как горное озеро, но голос был тверд, – прими заказ, веди себя как обычно. Боль утихнет, а об остальном я позабочусь. Обещаю. Просто притворись, что все нормально, и жизнь постепенно наладится. А сейчас иди, люди оглядываются. Иди.

Он слегка коснулся моей руки, и я оправилась от шока.

– Griessnocken и пиво?

– Да-да. Ой, смотри, а вот и Фишер. Я закажу для него тоже. Он ест одно и то же каждый день, верно, рядовой?

Фишер остановился рядом со мной.

– Fräulein, рад, что вам уже лучше.

Он щелкнул каблуками и поклонился, словно приветствовал кого-то стоящего, а не запачканную официантку.

– Воды и кнедлик со шпинатом, пожалуйста.

Почтальон заулыбался.

– Вегетарианец... единственный солдат вермахта, у которого нет желания убивать.

– Ошибаетесь, – ответил Фишер. – Я не выношу убивать невиновных. Остальные получают по заслугам.

Он говорил тихо и нежно, словно его слова предназначались только для меня.

И тут меня осенило, что эти два совершенно непохожих собеседника объединились, чтобы отомстить за меня ради справедливости. Я едва сдерживала слезы, но лицо все равно сморщилось и губы задрожали.

– Спасибо, – выдавила я и усилием воли заставила себя отойти к барной стойке.

Как он сказал? Притворись? И все наладится.

«Притворюсь. Это я сумею», – думала я, крича заказы на кухню и наливая пиво и воду.

О Шляйхе я почти ничего не слышала. Сообщив, что ему запрещено приходить в ресторан, мать больше о нем не вспоминала. Отец не появлялся дома с месяц, а когда вернулся, мать загружала его работой в кухне или хлеву. В тот вечер, когда ему позволили вернуться в бар, посетители его тепло приветствовали. Мать, привлекая всеобщее внимание, постучала ножом по стеклянной пивной кружке.

– Господа! – воскликнула она, стараясь перекрычать гомон. – Можете радоваться возвращению моего мужа, но если хоть кто-нибудь позволит ему даже понюхать выпивку – не обижайтесь, вас перестанут здесь обслуживать.

И слово свое сдержала. На следующей неделе Ганс Кофлер, вечно попадавший впросак, опрометчиво соблазнил отца кружкой пива. Мать опрокинула кружки им на головы и коротко приказала:

– Вон!

Прошло несколько месяцев, прежде чем Кофлер отважился показаться в баре, а отец завязал с выпивкой навсегда.

В канун Нового года вернулся Шляйх. Вечером было жутко холодно, на небе, затянутом тяжелыми снеговыми тучами, нависшими меж темными замерзшими вершинами, — ни звезды. Жители стекались на обледеневшую площадь, похрустывая свежевывавшим снежком, порывисто устилавшим под ногами землю. Отец Маттиас вывел процессию из церкви и, как каждый год, поджег первый фейерверк.

Впоследствии, став свидетельницей праздника света и звука на пляже Копакабана в Рио, я поняла, каким убогим было это зрелище в Оберфальце. Но тогда я, шестнадцатилетняя, с восторгом, заворуженно слушала эхом отдававшиеся в долине волшебные звуки, любовалась заснеженными крышами домов и вихрем падающих с неба снежинок, на мгновение выхваченных светом во всем своем великолепии.

Ахая и охая, таращась, я, наверное, отстала от Кристль, единственной в мире, кому рассказала все без утайки и кто пас меня не хуже своих коз.

Задрав голову, я стояла позади толпы, как вдруг внезапно содрогнулась всем телом и меня вырвало. Я была совершенно сбита с толку, с чего бы это, меня никогда не тошнило. Потом сквозь аромат соснового дыма и пиротехники подкралась узнаваемая вонь Шляйха. Сердце у меня заколотилось прежде, чем он крепко сжал мое плечо. Мой испуганный крик потонул в восторженных воплях толпы, когда

ракета рассекла ночное небо и рассыпалась зелеными и желтыми каскадами мерцающих огней. Другой рукой он закрыл мне рот и потащил в переулок.

– С Новым годом, mein Schatz<sup>8</sup>, – пробормотал он и, пригвоздив к стене дома своей тушей, свободной рукой стал расстегивать пуговицы моего пальто.

Я попыталась укусить другую руку, но он сунул мне в рот пальцы, и оставалось только тянуть его за рукав, чтобы не задохнуться.

Давление неожиданно ослабло, и я, пусть с его пальцами во рту, смогла дышать. Вспыхнул свет запущенной ракеты, и я увидела ствол пистолета, приставленный к виску фельдфебеля.

– Отпусти ее, Spieß, – прозвучал тихий властный голос. – Ты ведь не повторишь это снова? Да еще при всем народе. Они, пьяные, вздернут тебя на дереве, и я тебя не спасу. Не ищи приключений на свою голову. Дойдет до командира. Отпусти ее.

Шлях медленно вынул пальцы у меня изо рта, вытер слюну о мое плечо и молча исчез в ночи.

– Вам ничто не угрожает, – сказал рядовой Томас Фишер, вегетарианец, коснувшись моего локтя.

Я задрожала и попятилась, но он схватил мою руку в перчатке.

– Обещаю, больше он вас не тронет.

---

<sup>8</sup> Моя киска (нем.).

На следующий день, в обед, Томас Фишер и Лорин Майер так были заняты разговором, что не заметили, как я подошла к их столику за заказом.

– Grüß Gott!<sup>9</sup> – сказала я, пытаюсь говорить как ни в чем не бывало.

«Притворись, и все наладится» стало моей мантрой.

– Роза, – обратился ко мне почтальон. – Томас рассказал мне про вчерашний вечер. Не бойся. Больше с тобой ничего такого не случится.

Томас Фишер наконец взглянул на меня.

– Fräulein Кусштатчер, обещаю, Шляйх больше вас не беспокоит.

Он улыбнулся, и его прусская благочинность растаяла. Я вдруг поняла, что никогда не видела, как он улыбается.

В последующие дни Томас Фишер приходил обедать до появления герра Майера и оставался после того, как тот уходил на работу. Он расспрашивал меня о жизни в Фальцтале, обо мне самой и моей семье, никогда не выпытывая, просто из любопытства, и удовлетворял мой растущий интерес о его прошлом, о семье, о прерванной учебе в Лейпцигском университете. Я все чаще о нем задумывалась и как-то заметила, что улыбаюсь, смущенно смотрясь утром в зеркало в ванной и причесываясь.

Однажды в конце января Томас пригласил меня прогу-

---

<sup>9</sup> Здравствуйте! (нем.)

ляться после обеда, и мы пошли тропой, которой всегда ходил почтальон. Когда шли вверх по скользкой тропинке, нам встретилась пещера. Томас с интересом слушал, как в детстве мы там играли. У меня была роль индейца, который проигрывал ковбоям. Пещеру я ненавидела: там было холодно, темно и сыро.

Чуть дальше деревья заканчивались и тропа вела через заснеженный простор. Мы остановились полюбоваться открывающимся видом. И тут, к моему удивлению, появился герр Майер, возвращавшийся в долину с гор. Он попросил меня подождать их и присмотреть за почтовой сумкой. Ему срочно нужно было уладить какое-то дело, на что потребовалась помощь Томаса.

Мы как раз миновали деревья, когда мужчины от меня ушли. Я взобралась на скалу, выступавшую из снега, и села на сумку герра Майера, защищаясь от холодного камня.

Оберфальц лежал подо мной, в долине, я отчетливо видела каждый дом. Наш с большим двором сзади, стоявший в углу площади, был одним из самых высоких. С моего обзорного пункта – скалистой обнаженной породы – он выглядел чистеньким и искрящимся. Никто не знал, что творилось в каждом из этих крохотных образцовых домов. На безоблачном небе сияло солнце, припекая меня в многослойной одежде, будто пирог с начинкой. Я прикрыла глаза, положила голову на колени и погрузилась в сон.

Разбудил меня Томас, погладив по руке.

Под лучами послеполюденного солнца его синие глаза казались бездонными.

– А герр Майер ушел? – сонно спросила я.

– Да.

Щеки Томаса покраснелись, а глаза странно блестели.

– Все в порядке?

Томас заколебался.

– Да... то есть нет. То есть я хочу вас о чем-то попросить.

Он оглянулся на тропу, потом посмотрел на меня. И задремал. Открыл было рот, хотел что-то сказать, глянул вниз на долину и рассеянно прикрыл рот рукой.

– О чем вы хотите попросить? – немного помолчав, спросила я.

– Можно... я хочу сказать... вы не возражаете... нет, можно вас поцеловать?

– Ой, – от неожиданности опешила я, с восторгом и страхом чувствуя, как загорелись щеки. – Я никогда раньше ни с кем не целовалась.

Воспоминания о Шляйхе, тершемся губами о мои губы и просовывавшем язык сквозь мои стиснутые зубы, напомнили о себе, но я их оттолкнула.

То был не поцелуй.

Томас нахмурился, словно почувствовал, что я вспомнила.

– Ладно, ладно, я подожду. Может, когда-нибудь вы согласитесь. Я просто думаю, какая вы замечательная.

Он снова покраснел и посмотрел вниз, в долину, на Санкт-Мартин.

– Я? Замечательная? – пробормотала я и залилась румянцем.

Я не привыкла к похвалам, но он пристально смотрел на меня серьезными глазами, и стало понятно, что он не шутит.

Последнее время я все больше думала о Томасе и пришла к выводу, что лучше его в жизни никого не встречала. С каждой нашей встречей он казался мне все красивее. Я была ему благодарна за доброту, но считала, что он меня просто жалеет.

– Я никто, официантка в ресторане и... вы знаете, – быстро выдохлась я, но мы оба понимали, что я имела в виду.

Томас протянул ко мне руки и, когда после небольшой заминки я ответила тем же, сжал мои в ладонях.

– Вы словно валькирия, такая смелая. Вы даже не понимаете, насколько сильны. То, что вы пережили, многих бы просто раздавило.

Его глаза сверкали негодованием и страстью.

Только тогда я наконец приняла, что это не жалость. Я ему нравилась. Я обожала его честное лицо, голубые глаза, доброту, но на такое даже не надеялась.

– Томас, – улыбнулась я и нерешительно подставила лицо, – целуйте.

И весь оставшийся день только об этом и думала.

В тот вечер в ресторан ворвался Кёлер. Не знаю, выполнял ли он приказ или просто встал на сторону начальника, но, как и Шляйх, красавец не бывал в баре с той ночи, когда меня изнасиловали. Когда он появился, гомон голосов стих и посетители повернулись к нему. Из-за стойки бара я наблюдала, как он спрашивает, не видел ли кто фельдфебеля.

До тех пор я дрожала от одного упоминания его имени, но после вечера, проведенного в объятиях Томаса, я изменилась, будто сделала прививку и снова стала счастливой.

Слова Кёлера никак меня не коснулись, я просто с облегчением поняла, что Шляйх куда-то исчез.

Через пару дней, поискав его вместе с Кёлером, Томас доложил, что фельдфебель пропал. Из Бриксена приехала полиция, задала несколько вопросов и уехала. Вернулся гауптман на черной, забрызганной грязью машине, остановился на площади и расспросил Томаса и Кёлера. На обед Томас пришел в ресторан с фельдфебельскими нашивками на плече.

Много лет спустя в воскресной газете мое внимание привлек небольшой заголовок в конце страницы международных новостей: «Мыльный человек в итальянской пещере». Корреспондент сообщал, что дети, игравшие в горах близ отдаленной деревеньки Оберфальц в Северной Италии, залезли в пещеру через недавно открывшуюся расщелину и обнаружили жуткое зрелище – труп. Когда местная полиция и де-

ревенские жители откатали закрывавшие вход валуны, откуда вырвался мыльный запах. Труп, покрытый твердой восковой коркой, лежал в дальнем конце пещеры, рядом, на земле, валялась веревка. В нем опознали немецкого фельдфебеля Вильгельма Шляйха, пропавшего без вести во время Второй мировой войны. Было начато расследование убийства.

Забавно, как нас ослепляют любовь и страх. Я даже не обратила внимания, что вход в пещеру закрыт, ни в тот день, когда вернулась с прогулки рука об руку с Томасом, ни потом. Тропа, которую выбрал Томас, «случайная» встреча на ней с почтальоном, Томас, который наконец отважился меня поцеловать, пропажа Шляйха – все как-то сложилось в единую картину. И как я ничего не замечала раньше? До сих пор не понимаю, то ли была настолько наивна, то ли подсознательно решила не замечать.

Как бы то ни было, даже спустя десятилетия открывшаяся правда меня поразила.

Газета трепетала у меня в руке, словно пойманная птица, пока я читала о том, как подобно свиному салу обильный жир Шляйха в сырой холодной пещере без притока свежего воздуха преобразовался в трупную восковую корку. Наконец фельдфебель стал чистым: сам превратился в кусок мыла.

## Глава 5. Вата

Вата – удивительный материал, такой мягкий, так хорошо впитывает. Еще Геродот ручался, что она мягче и белее овечьей шерсти. И если вам когда-нибудь доводилось держать в руках непряденую шерсть, то вы с ним согласитесь.

Если вдуматься, на что только не годится коробочка хлопчатника, полная пуха, семян и волокна! Мы прядем из хлопка нити, из ткани шьем джинсы, футболки, простыни и палатки. Делаем кофейные фильтры и бумагу. В одной только ванной ватой и вытираем, и чистим, и обеззараживаем.

Стеклянная банка в ванной всегда наполнена белоснежными шариками мягчайшей ваты. Ватным тампоном я снимаю макияж, протираю лицо тоником, иногда спиртом.

В Оберфальце мать хранила в ванной толстый рулон ваты. Когда мы падали, она осматривала ссадину, распаковывала рулон и отрезала кусок, чтобы очистить ранку.

Когда мне исполнилось тринадцать и начались месячные, она привела меня в ванную и показала, как завернуть в марлю кусок ваты и подкладывать в нижнее белье. Другим девочкам давали прокладки из старых полотенец. Они полоскали их в воде, которой потом поливали герань в деревянных лотках за окнами.

У матери не было времени на лишнюю работу – гораздо легче выбросить грязную вату в огонь.

В начале 1944 года у меня начались нелады с желудком. Грудь набухла, живот вздулся, как обычно перед месячными, но они не пришли. Когда я вошла в кухню за заказом, меня чуть не стошнило от запахов.

– Роза, – окликнул меня почтальон, когда я начала убирать с соседнего стола. – Мне нужно с тобой поговорить.

Вроде я подала то, что он заказывал, хлебницу наполнила, капустный салат был нетронут, и он уже съел один из трех кнедликов.

– Что-нибудь не так, герр Майер? – спросила я.

– Еда замечательная, Роза, как и всегда, – сказал он, поднимая вилку с ножом. – Я хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Ничего необычного?

– Нет, все нормально.

Он взглянул на мой живот и подцепил вилкой кнедлик.

Обычный кнедлик, какие мама всегда клала ему на тарелку. Я любила помогать их готовить. Мы раскатывали тесто каждый день, вчерашний подсохший хлеб вымачивался в клейкой смеси молока и яиц, смешивался с дикими грибами, белыми или боровиками, или шпинатом и сыром. Больше всего я любила кнедлики со шкварками, которые, когда надкусишь, выпускают на язык горячий сочный жир.

Майер взял нож и разрезал кнедлик пополам. Белые половинки раздвинулись, обнажая красные и коричневые частички: ветчину и белые грибы. Каждая половинка лежала в подливке из черноватого масла.

– Извините, – зажала я рукой рот.

Он взглянул на меня и кивнул.

– Это все масло, – объяснила я, хотя всегда любила запах подгоревшей подливки.

Он вздохнул и откинулся на стуле.

– И часто тошнит?

Конечно, это был не первый раз, даже не второй и не третий. Я закрыла глаза и пыталась подавить приступ тошноты.

– Да.

– Все время?

– Когда просыпаюсь, когда голодная.

Он шутливо поднял брови.

И в тот момент я вдруг увидела то, чего до сих пор не замечала, что слишком боялась увидеть – сегодня мы бы назвали это неприятием.

Я ухитрялась не замечать изменения в своем теле, но под испытующим взглядом Майера не считаться с этим стало невозможно.

– Я беременна? Верно? – сказала я, сжимая спинку стула.

– Похоже. Я с ноября беспокоюсь. Вроде и платье стало теснее, и тошнота... Ну, думаю, это наверняка.

В то время смертным грехом считался не только секс без брака, незамужние матери были позором для семьи, их избегали и презирали. Я пришла в ужас.

– Что же делать? – спросила я.

– А мать знает?

Я задумалась. Она моя мать, вроде бы должна догадываться, но никаких признаков я не замечала.

– Она мне ничего не говорила.

– Но знает ли она?

– Нет, – горько ответила я, поняв, что она даже не заметила, что я перестала брать вату, хотя всегда строго следила за запасами.

– Конечно, нет, ей не до меня.

Ma chère, что тебя так поразило? Разве ты никогда не слышала о девчонках, ни с того ни с сего рожавших в школьных туалетах? Так уж вышло, до последних трех месяцев никто и не подозревал, что я ношу под сердцем ребенка. Благодаря ежедневному подай-принеси, всегда на ногах, я была крепкой и выносливой. А мать... похоже, просто не хотела знать... впрочем, как и о многом другом. Это все равно что разворошить муравейник. Лишь спустя много лет, ma chère, я поняла материнскую слепоту и бездействие. Герр Майер проявил больше сочувствия. Он посмотрел через всю комнату на дверь в кухню.

– Не говори ей, Роза. Это разобьет ей сердце, – заметил он, складывая вилку с ножом на тарелку рядом с забытым кнедликом.

Я проследила за его взглядом. Мужчины в баре все еще пили и беседовали. За покрытыми инеем окнами на площади двигались тени. Мир казался прежним, но он коренным образом изменился.

Вдруг Майер выпрямился.

– Тебе нельзя здесь оставаться, – решил он.

До сих пор я жила только «здесь», не зная других мест.

Мысль о том, что придется куда-то уехать, меня пугала.

– Почему?

– Люди смекнут, в чем дело, а тут еще Шляйх пропал...

Он твердо и решительно покачал головой.

– Нет, тебе придется уехать.

Я задумалась в поисках решения.

– Я могла бы выйти замуж.

– За Томаса? Эта тропка только приведет к нему.

Мне казалось, он имеет в виду, что все посчитают Томаса отцом ребенка, но теперь я понимаю, почтальон беспокоился о другом: тело Шляйха обнаружат и убийство припишут Томасу.

– По-вашему, мне лучше уйти? – переспросила я.

– Да, другого выхода я не вижу, – пожал он плечами и снова вздохнул. – Я отведу тебя через перевал... и скоро.

Герр Майер дал мне неделю. Он объяснил, что сейчас еще можно пройти по снегу и льду, и нужно идти, пока я в силах подняться в гору. Сборы мои были недолги. Бедному собраться – только подпоясаться.

Каждый день после обеда я находила причину пойти прогуляться. Томас поджидал меня на краю деревни, и каждый день мы выбирали другой маршрут. Но куда бы мы ни шли, ничего не менялось.

Как только мы оказывались среди деревьев, он прижимал меня к стволу дерева и целовал. Мы целовались, а огромные хлопья снега падали с веток на пальто, снежный ковер вокруг сверкал под солнечными лучами.

Сейчас, оглядываясь в прошлое, те поцелуи кажутся целомудренными: мы были закутаны с ног до головы, только лица были голые, холод не позволял нам исследовать что-нибудь еще. Мы только целовались. Каждый поцелуй подогревал страсть. А мне хотелось большего.

В последнюю ночь, в назначенный час, когда в доме все стихло, я прошла мимо коров, мимо загона, где меня изнасиловал Шляйх. С тех пор я в сарае не была и дрожащими пальцами открыла дверь.

Томас ждал. Он подошел и обнял меня.

– Не здесь, – оттолкнула его я. – Именно тут...

Томас побледнел.

– Конечно, – ответил он. – Извини.

Я с трудом заперла дверь на засов. Повернувшись, я увидела, как он чешет за ухом корову. Взяв за руку, я повела его мимо коров в тишину дома.

– Ботинки, – прошептала я, когда он вышел в коридор. Он снял их и, прижимая к груди, последовал за мной наверх.

Мы, крадучись, миновали комнату родителей. Спальня Кристль была напротив моей.

Когда я стала открывать дверь, в тишине раздался скрип металла о металл – мы замерли. Я проклинала отца за то,

что он так и не смазал петли. Никто не появился, и я повела Томаса к себе. Наконец мы остались одни в моей спальне.

Я не шевелилась. Я давно об этом мечтала, но сейчас заволновалась и испугалась. Я замерла спиной к двери, и он сделал ко мне шаг.

– Роза, – так осторожно и нежно шепнул он, что я едва различила слова, – все будет так, как ты захочешь.

Я сильнее прижалась спиной к двери.

– Хочешь, уйду? – наклонил голову он.

– Нет, – прошептала я, качая головой.

Он подошел ближе и взял меня за руки, переплетая пальцы с моими.

– Тебе бы выспаться. Пойдем в постель, согреем друг друга.

Он сел на мою кровать и снял пальто, китель, рубашку, носки, оставив только нижнюю рубашку военного образца с длинным рукавом. Потом, потупив голову, не глядя на меня, встал и отстегнул ремень, расстегнул и снял брюки. Я не сводила с него глаз. Сердце заколотилось в водовороте страха, волнения, желания и смущения. Он в нерешительности стоял в нижнем белье, белых хлопчатобумажных теплых кальсонах и нижней рубашке с длинным рукавом, и на лице его блуждала застенчивая улыбка.

– Холодно, – заметил он, поднимая одеяло и ныряя под него.

Я отошла на шаг от двери и остановилась. Хотелось стя-

нуть жакет и платье и присоединиться к нему, но от смущения я не могла сдвинуться с места. Он, похоже, почувствовал мою стеснительность и отвернулся к стене. Раздеваться сразу стало легче.

Я легла рядом с ним в нижней рубашке с длинным рукавом и панталонах и потянула на себя одеяло. Он не двинулся с места, но от его тела исходило тепло. Я неуверенно положила руку ему на бедро, потом погладила пальцами мягкую поношенную нижнюю рубашку, нащупав упругое тело. Провела пальцами вокруг груди и почувствовала, как от прикосновения под тканью напряглись мышцы. Я остановилась и прислушалась к его дыханию, а он к моему. Приподнявшись, уткнулась сзади носом ему в шею. От него пахло сладковатым потом, и я провела губами по его коже, прошептав на ухо:

– Поцелуй меня.

Начав, остановиться мы уже не могли, сначала хихикая, потом еле сдерживаясь, чтобы не закричать, и так неловко возились под моим односпальным одеялом, постепенно сбрасывая с себя оставшуюся одежду, познавали друг друга. И тот момент, когда мы слились воедино – нога к ноге, губы к губам, тело к телу, – стал настоящим откровением.

Я даже не представляла, что может быть так хорошо.

В ту ночь мы не спали.

Когда в пять утра вылезли из постели, было темно. Вста-

вать не хотелось, но нужно было написать матери письмо. Первые попытки не удались – во мне кипела злость, будто черные чернила на бумаге. Поток слов прочитывать было невозможно. С подсказкой Томаса я написала только самое необходимое.

*Дорогая мама,  
когда ты найдешь это письмо, я буду уже далеко.  
После случившегося в ноябре оставаться здесь мне  
никак нельзя. Не ищи меня, даже не пытайся. Я хочу  
начать жизнь заново.*

*Передай привет Кристль.*

*Твоя дочь*

*Роза*

Я положила письмо на кухонном столе, посередине, поверх накрытой миски с тестом, оставленным подходить с вечера.

Мы с Томасом вышли из дома в темноту и пошли к месту встречи с герром Мейером.

– Береги себя. Когда война закончится, я тебя найду, – пообещал Томас. Мы поцеловались на прощание, и я заставила себя оторваться от него.

– Я тебя люблю! – крикнул он мне вслед.

Он остался на мосту, откуда я убежала тогда от Руди Рамозера. Уходить было невыносимо. Хотелось кричать о том, как я его люблю, и я прикусила губу, чтобы не разреветься, но слезы безудержно текли по лицу.

Я с трудом карабкалась по скользкой тропе, и мучительная утренняя тошнота помечала мой путь вверх. Если бы кто-нибудь захотел меня выследить, мой курс был отмечен гораздо отчетливее, чем у Гензеля с белыми камешками.

И я легко догадалась о том, что всегда подозревала: Лорин Майер был не только почтальоном. Он работал на Соппротивление, переправляя людей и грузы через перевал. Тропу, что вела вверх через перевал и вниз по другую сторону, он знал как свои пять пальцев.

Несмотря на мои старания, я запыхалась больше обычного и продрогла. И тем не менее он меня подгонял. Мы все дальше поднимались по тропе прочь от узкой долины, которую я в жизни почти не покидала. Несколько раз я оступалась и падала, сшибая колени. На самой вершине перевала мы остановились, и я оглянулась в последний раз.

– Увижусь ли я когда-нибудь с Томасом? – спросила я.

– Роза, в наше время обещать ничего нельзя, но я знаю, он тебя любит. И найдет, как только появится возможность.

Далеко внизу на зимнем солнце блестели окна домов. Я немного побаивалась неизвестного будущего, но совершенно не жалела о том, что ушла из родительского дома. Отец меня предал, а мать не сумела как следует позаботиться. Беспokoила только сестра, но герр Майер пообещал за ней приглядеть.

– Пойдем, – поторопил он. – Впереди у нас долгий спуск.

Ноги не желали двигаться – они словно приросли к вер-

шине перевала.

Мне было шестнадцать, но я уже познала предательство родителей, страдания и вкусила первую любовь. Сделай я сейчас один шаг, и вряд ли снова увижусь с Томасом. Я была влюблена по уши и, *ma chère*, откровенно считала, что больше никого никогда не полюблю.

Наконец почтальон подошел ко мне, развернул за плечи, и вскоре я, спотыкаясь, не разбирая из-за подступивших слез дороги, спускалась по другой стороне горы. Мы шли по тропе вдоль реки все утро, обходя две деревеньки. Я устала, проголодалась, меня преследовала тошнота, когда герр Майер указал на фермерский домик, примостившийся чуть пониже леса.

– Там переночуем.

Дом стоял неподалеку, но ноги меня не слушались, склон казался непреодолимым. Почтальон меня легонько подтолкнул.

– Пойдем, там живут хорошие люди. И покормят, и выспимся.

На следующее утро фермер выкатил подводу и запряг лошадь, чтобы отвезти меня дальше, а герр Майер вручил мне стопку писем.

– Я их пронумеровал, – сообщил он, показывая на верхний левый угол конвертов. – Я посылаю тебя, как по почте. На каждом конверте имя получателя и адрес. В каждом письме просьба позаботиться о тебе и отправить по следующе-

му адресу. Так я переправляю беженцев. Этим людям можно полностью доверять. Они не станут задавать вопросов, и ты тоже ни о чем не спрашивай. Тебя накормят, устроят на ночлег и переправят дальше.

Я пересмотрела стопочку писем, остановившись на последнем, адресованном профессору Генриху Давиду Гольдфарбу в Санкт-Галлене.

– Кто это? – спросила я.

– А это Томас предложил. Он у него учился.

Он взял мой небольшой чемоданчик с одеждой и погрузил на телегу.

– Держи, пригодятся.

И вложил мне в руку несколько швейцарских франков.

Как только он сделал шаг назад, я бросилась ему на шею. Он на секунду замешкался, прежде чем неуклюже обнять. Родительский дом я покинула, не пролив ни единой слезинки, даже ощутив свободу, но попрощаться с Лорином Майером без сожаления не могла.

– Спасибо вам. Не знаю, что бы я без вас делала, – сказала я, пытаясь говорить уверенно.

Мне не хотелось его расстраивать.

– Роза Кусштатчер, – хрипло ответил он, – я желаю тебе добра. Голова на плечах у тебя вроде имеется, так что все будет хорошо. Пиши мне.

До Санкт-Галлена я добиралась пять дней, преодолевая

немногим больше ста пятидесяти миль поездами, автобусами и попутками, с ночевками по указанным почтальоном на разных конвертах адресам. Каждый хозяин кормил меня и предоставлял ночлег, потом отправлял к следующему. Раньше я редко выезжала из нашей долины, зато теперь кочевала из одного незнакомого дома к другому без страха или каких других чувств. Я была молода и просто будто вырвана из привычной жизни. Теперь, вспоминая прошлое, понимаю, что была в шоке. Меня передавали из рук в руки, словно отправленную Майером посылку.

И только когда я стояла перед домом на Дуфурштрассе – адрес на последнем письме, грезы рассеялись. Я, как и раньше, постучала и ждала. Дверь открыла недовольная женщина.

– Да? – холодно сказала она, оглядывая меня с головы до ног.

– Добрый день, – нервно поздоровалась я. – Я ищу профессора Гольдфарба.

– Кого?

– Профессора Гольдфарба. Он здесь живет. Взгляните.

И показала ей письмо.

– Нет. Мы тут живем уже сколько... наверное, я бы заметила в доме профессора. Поспрашивайте у соседей.

И, не говоря больше ни слова, захлопнула у меня перед носом дверь.

Меня одолевала тошнота, и едва я шагнула на тротуар, как

меня вырвало.

Наверное, произошла какая-то ошибка.

Руку оттягивало рекомендательное письмо Томаса старому профессору. Похоже, он ошибся с номером дома.

Посидев немного у ограды с холодными железными прутьями, огораживавшей садик перед домом, я окончательно растерялась, не зная, как быть дальше. Надежда, с которой я сюда добиралась, рассеялась, словно дым. Но потом вспомнила, что Томас назвал меня валькирией: «Вы даже не понимаете, насколько сильны». Я поднялась. Так легко я не сдамся. Не подводить же Томаса.

Я открыла следующую калитку и прошла по садовой дорожке. Я постучалась домов в двадцать на той улице, но большинство людей о профессоре не слыхало. Только двое ответили, если я имею в виду мужчину, который жил тут совсем недолго, то он переехал. В какой-то момент я обнаружила, что спускаюсь по холму и иду обратно. Я не была готова к неожиданностям. Этот конверт внушал уверенность, что все будет хорошо. Но не тут-то было. Я одна в чужой стране, где никого не знаю. Наверное, я не та валькирия, которую видел во мне Томас.

Стоял февраль. Земля была покрыта снегом. Темнело, и я замерзла. Наконец нашла дешевую гостиницу, но пришлось переплачивать, чтобы они закрыли глаза на отсутствие документов. Деньги стремительно таяли, и на следующий день их едва хватило, чтобы купить еды и просидеть в тепле ближай-

шей гостиницы до закрытия. Никогда не забуду ужаса второй ночи, когда я лежала, свернувшись комочком, на крыльце собора. Я боялась темноты, одиночества, безденежья и замерзнуть до смерти. Еще пару холодных дней и ночей я побиралась и даже украла несколько булок из уличной корзины перед магазином. Тошнота мучила хуже голода. На четвертый вечер в гостиницу не пустили – я была похожа на нищенку. Мужчины провожали меня жадными взглядами, напоминая о Шляйхе.

На следующее утро я в отчаянии вернулась на Дуфурштрассе и снова начала стучаться в каждую дверь, начиная с первого дома. Добравшись до конца квартала, я перешла через дорогу и вернулась по другой стороне.

Поиски заняли все утро и только добавили безнадежности.

Я стояла в конце квартала, едва сдерживая слезы. Потом приструнила себя – с чего это я решила, что он уехал из города? Стучись в каждую дверь! Однако Санкт-Галлен – не крохотный Оберфальц. И прежде, чем найдешь человека, за просто умрешь от голода.

Я отчаялась, и энергия моя иссякла. Понимала, что должна как можно скорее найти профессора, не то... Думать о других возможных вариантах было невыносимо. Окинув улицу взглядом в последний раз, я медленно повернулась: решение пришло само собой – настолько простое, что я засмеялась вслух. Может, я не смогу найти дом, но если чело-

век был у Томаса профессором, значит, преподавал в университете, и нужно искать его на работе. Когда я спросила нескольких прохожих, где находится университет, первые трое сделали вид, что не расслышали. Четвертая, молодая женщина, улыбнулась и ответила:

– Университета как такового здесь нет. Может, вы имеете в виду Высшее коммерческое училище?

И показала, как пройти.

До училища было рукой подать, однако найти тех, кто знал профессора, оказалось труднее – наконец мне указали на здание, в котором он работал. Я обошла экономический факультет и, не найдя нужного имени ни на одной из табличек, постучалась в кабинет секретаря.

– Войдите, – пригласил тихий голос.

Я вошла.

– Извините, – начала я тоном, каким приветствовала посетителей ресторана, – я разыскиваю профессора Гольдфарба.

Секретарь оказалась худенькой женщиной средних лет, прятавшейся за пишущей машинкой в кабинете, полном металлических картотечных шкафов.

– Вы студентка?

– Нет.

Она прищурилась.

– Родственница?

– Нет.

– Тогда ничем помочь не могу, – резко ответила она. – Чужим сюда вход воспрещен.

Страх, голод, отчаяние, которые я старалась скрыть, нахлынули на меня все сразу, и я села перед ней на стул.

– Не знаю что и делать, если его не найду, – вздохнула я, не сдержав рыданий.

– Простите, – мягко сказала женщина и подошла ко мне. Она стояла рядом, касаясь моего плеча. – Если это так срочно, пойду его поищу.

Я успокоилась и даже уняла рыдания, но еще вытирала слезы, когда она вернулась с неопрятным мужчиной в плохо сидящем коричневом твидовом костюме. Не бритая несколько дней седая щетина оттеняла его бледную кожу. Я встала.

– Это профессор Гольдфарб, – сказала женщина.

Он прищурился, всматриваясь в мое отчаявшееся лицо.

– Фройляйн Полт говорит, вы меня разыскиваете. Мы знакомы?

Его речь была отрывистой и ясной: немец.

– Нет. Но у меня для вас письмо, – ответила я, взмахнув помятым конвертом Томаса.

– Разрешите?

Я кивнула, и он аккуратно подцепил конверт тонкими пальцами.

– Какая холодная у вас рука. И акцент... вы ведь не местная?

– Нет. Я из Южного Тироля.

Он снова посмотрел на меня, потом сосредоточил внимание на конверте и прочитал свое имя и адрес, написанные аккуратным, чуть размазавшимся почерком Томаса. Потом перевернул письмо, взглянув на обратный адрес.

– Сядьте и подождите.

Фройляйн Полт показала мне на стул в коридоре перед ее кабинетом и принесла стакан с водой. Я устала и была рада месту, но слишком взволнована, чтобы сидеть тихо, и стала наблюдать в окно за молодыми и старыми мужчинами, идущими теми же тропами, что я исходила раньше, и старалась не думать о последствиях, если письмо Томаса не достигнет цели.

Минут через десять профессор в пальто с шарфом на шее, шляпой и портфелем в руках вернулся.

– Роза Кусштатчер?

– Да.

– Я очень уважаю Томаса Фишера, – сообщил он церемонно и в то же время мягко. – Пойдемте со мной.

Как только до меня дошли его слова, я упала на стул и заплакала.

Профессор привел меня к себе домой прямо на кухню.

– Садитесь, сейчас приготовлю вам горячего молока с медом, – приказал он. – Потом поговорим.

В углу комнаты была традиционная изразцовая печь с обивавшей ее скамьей, и, пока он готовил, я села погреться.

– Держите, – предложил он.

Я открыла глаза и обнаружила, что, прижавшись головой к теплой печке, нечаянно задремала.

– Это вам.

Он оставил меня смаковать горячее сладкое молоко, а сам открывал дверцы шкафов и выдвигал ящики. Я поднесла чашку к носу и, вдохнув густой приторный аромат, на какой-то миг представила себя на кухне с матерью. Но быстро отмела видение: здесь было безопасно.

Пока профессор суетился на кухне, я воспользовалась возможностью рассмотреть его повнимательнее. Я воображала морщинистого седовласого старика, но ему было не больше пятидесяти. Он был кожа да кости. Я с облегчением потягивала молоко, до сих пор не веря, что его нашла.

– Вот, – он выдвинул из-за стола стул для меня. – Еды немного, но есть хлеб и сыр.

Я оторвалась от теплой печки и присоединилась к нему за столом. На плоской тарелке появился пикантный бледно-желтый сыр, маринованные корнишоны и несколько ломтиков ржаного хлеба. Я облегченно вздохнула: от голода я не умру и до смерти не замерзну, по крайней мере, не этой ночью.

Профессор тоже стал есть. Ужинали молча.

Перекусив, он опустил нож и вилку и тщательно вытер губы хлопчатобумажной салфеткой.

– Томас Фишер был моим лучшим студентом... любим-

цем. Он попросил меня вам помочь, – сообщил профессор и, взяв пустую тарелку, помолчал. – Боже мой, вы, наверное, голодны. Пойду-ка раздобуду чего-нибудь еще.

Он поспешно встал, отодвигая стул.

– Комната в конце коридора свободна. Оставайтесь, сколько потребуется.

В квартире профессора было полно книг и мало домашнего уюта. Единственными признаками жизни помимо работы были четыре портрета в серебристых рамочках, стоявшие на каминной полке. На первом – снимок двух мальчиков чуть старше десяти лет, закутанных в большие белые в темную полоску шали с бахромой. На втором стояла в пятой позиции девочка лет двенадцати в балетной пачке. На третьем те же трое детей, совсем маленькие, мальчики в костюмах моряков, а девочка в накрахмаленном переднике. Последним был портрет худенькой женщины с короткой стрижкой «боб», модной в тысяча девятьсот двадцатые.

Профессор отвел меня к своему врачу, доктору Остеру, который, осмотрев, велел приходить к нему раз в месяц и отослал на кухню, к жене, попросить ее подать им с гостем кофе, пока они обсудят новости. Выставляя на поднос кофе, сахар, сливки, пирожные, фарфоровые чашки с блюдами, фрау Остер вытянула из меня всю подноготную. С тех пор, когда я заходила на консультацию, она снабжала меня поношенной детской одеждой и плохо сидящими платьями для

беременных, выпрошенных у других пациенток. С ее помощью у меня собралось своего рода приданое.

Каждый день я выходила на прогулку по живописному городку с его аскетичным бенедектинским монастырем и собором в стиле барокко с черными башнями-близнецами, наслаждалась видами на озеро Констанц, простиравшееся внизу в долине, и темной громадой горы Сентис, вздымавшейся среди пологих холмов. Возвращалась я с продуктами и готовила обед и ужин для профессора. Пусть мать не уделяла мне много внимания, зато научила готовить, убирать и не бояться никакой работы.

Горячая домашняя еда профессору пришлась по душе, со временем одежда уже не сидела на нем мешковато, как раньше. Не знаю, заметил ли он в доме какие-то изменения, но я в порыве благодарности мыла и скребла до блеска. Наш союз был странноватым, но мне, юной и неопытной, несказанно повезло. Профессор принял меня, предоставил убежище и едва замечал. Я чувствовала себя в безопасности. По вечерам мы вместе ужинали, потом он перебирался в кресло в гостиной и слушал пластинки или читал, а я рукодельничала.

Платья, переданные мне фрау Остер в аккуратно завернутых пакетах из коричневой бумаги и перевязанных веревочкой, были неизменно велики, и я, сначала осторожно, их ушивала. А потом, после нескольких ночей, что-то произошло. Живот увеличился, и я распускала ушитые раньше платья: путем проб и ошибок научилась сшивать ткань мелкими

стежками, штопать, сметывать, сшивать на живую нитку. У меня получались аккуратные плотные швы «назад иголку». Я со страхом распускала подшивку, пока подруга фрау Остер не показала мне, как выполняется «потайной шов». Однажды, кажется на Крещение, я распоролa уродливое платье из совершенно роскошного ситца, вытащила из швов нитки и впервые обратила внимание на фасон: на сборки и складки, вытачки и форму – на его основы. И начала понимать, чего можно достичь тщательной кройкой и шитьем. Я превращала бесформенные мешки в элегантные наряды. И попутно, долгими вечерами, размышляла, что делать с ребенком, когда он родится.

До недавнего времени, *ma chère*, молодые незамужние женщины уходили из дома, чтобы родить внебрачного ребенка, и подбрасывали его в монастырь или в больницу на усыновление, потом тайно возвращались домой, надеясь, что никто не заметил. Матери-одиночки встречались крайне редко и жили во всеобщем презрении.

И все же меня волновала растущая во мне жизнь. Я понимала, с ребенком придется расстаться – так поступали все женщины в моем положении, однако, сидя за шитьем или гуляя по улицам городка, я завидовала другим матерям с детьми. Но, напомнив себе, что беременность была нежелательной, а Шляйха я ненавидела, воспитывать его ребенка я не могла.

Однажды профессор, вернувшись с работы пораньше, за-

стал меня на четвереньках, отмывающей на кухне пол. И для него это стало явным откровением. Он застыл на пороге и чуть ли не закричал:

– Роза, что вы творите? В вашем-то положении!

С трудом оторвав руки от пола, я села на пятки.

– Обычная уборка, как каждый день.

Он шагнул вперед.

– Вы каждый день моете полы? – спросил он уже мягче.

– Ой, только не ходите по мокрому полу, дайте ему просохнуть!

– Я просто хотел чашечку кофе, – ответил он, но повернулся и в задумчивости ушел.

– Сама принесу, дайте только закончить! – крикнула я вслед.

Когда я принесла ему кофе, он неподвижно стоял у камина и гладил фотографии на полке. Раньше я никогда не замечала, чтобы он даже их разглядывал. Когда я вошла, он опустил руки и повернулся ко мне.

– Роза, – отрывисто спросил он, – сколько лет вашим туфлям?

– Ох, года два, кажется, – застигнутая врасплох, ответила я. – Точно, мать так радовалась прошлым летом, что ноги наконец перестали расти и не нужно покупать новую пару.

– Ну, они свое отработали. Извините, что я не обратил внимания. Пора покупать новые.

Я взглянула на туфли. Я чистила их каждый день, но они

сильно изнашивались, подошвы сбились, и в дождь ноги промокали. Он, конечно, прав, но денег у меня не было даже на починку.

А профессор дал мне уже столько, что стыдно было просить о большем.

– Да они вроде пока ничего, профессор, – возразила я.

– Чушь, – быстро отмахнулся он. – Я же видел дыры в подошвах.

– Но...

– Никаких «но». Завтра идем за покупками. Я ведь не привык о ком-то заботиться. Этим занималась жена.

Он повернул ко мне фотографию худощавой женщины с темными, коротко стриженными кудрями. Я много раз вытирала пыль с рамок и гадала, кто это. Мне казалось странным, что он никогда не упоминал ни о ней, ни о детях на других снимках, но я не смела вмешиваться. Я обрадовалась, что он затронул эту тему.

– Ах, – восхитилась я, – какая красавица!

– Да. Была.

Он отошел от камина и уселся в кресло.

Я подошла к фотографиям и стала их рассматривать.

– Это ваши дети? – после долгого молчания спросила я.

– Я приехал сюда, чтобы получить для них визы. Пришлось приехать первому, чтобы привести в порядок документы. А когда вернулся в Лейпциг, нацисты их арестовали.

– Ох, – тяжело вздохнула я, моментально поняв, что это

значило.

Сейчас мне странно об этом вспоминать, но в то время я думала, что они погибли от какого-нибудь несчастного случая. Я была молода, жила относительно спокойно в отдаленной деревне, ничего не ведая, и даже понятия не имела о том, что происходит в Германии. Все это придет ко мне позже, станет неизбежным после войны. За свою короткую жизнь я уже хлебнула горя, но мое первое представление о чужих потерях, травмах и страданиях появилось в тишине этой гостиной.

– Поэтому вы не нашли меня сразу. Я снял большой дом для нас всех, и у Томаса оказался тот адрес. Вернувшись, я переехал в меньшую квартиру.

После долгого молчания я отважилась спросить:

– Что с ними случилось?

– Они погибли.

Он уставился на ковер. Я встала перед ним на колени и взяла за руку. Я не могла подобрать слов, не могла постичь всей боли утраты, что значила для него гибель детей. И мало что могла предложить в утешение – только свое присутствие.

Он не выдернул руки, и мы долго еще так сидели.

– Я замкнулся и искал уединения, – наконец признался он, – но, наверное, ангелы послали мне вас. Вас с бесконечным шитьем, уборкой и жизнелюбием.

Я покраснела и отпустила его руку.

– Профессор, чем еще, кроме домашних дел, я могу от-

благодарить вас за доброту? – поднимаясь, заметила я.

– Нет, это я должен вас благодарить, – покачал он головой. – И новые туфли вам просто необходимы. Завтра пойдем и купим.

В Бриксене продавали три вида обуви: для работы, для ходьбы по горам и на выход. У меня никогда не было возможности примерить больше двух-трех пар, которые мать считала подходящими. А в Санкт-Галлене женщины примеряли туфли разных фасонов для разных целей, и не только черные или коричневые. Профессора забавлял мой восторг, а еще больше – выбор пары крепких башмаков, а не более элегантной модели – сказывалась практичность официантки. Но даже эти туфли были самыми шикарными из тех, что когда-либо имела: блестящие, кожаные бежевые с коричневым, с маленькими кожаными шнурками. Я была от них в восторге.

В тот вечер после обеда, когда я варила кофе, профессор вошел в кухню.

– Я купил вам кое-что еще, – вдруг застеснявшись, сообщил он.

– Ой, но туфель уже более чем достаточно, – заметила я.

– Нет, это нечто другое. В магазине я заметил, с каким удивлением на нас смотрели люди. Потому что на вас не было вот этого.

Он протянул небольшую коробочку, завернутую в белую

папиросную бумагу. Я взяла ее. Там было что-то твердое и легкое.

– Откройте, – настойчиво попросил он.

Под папиросной бумагой скрывалась маленькая красная коробочка, а в ней – простенькое золотое колечко. Я смущенно посмотрела ему в лицо.

– Наденьте, – велел он, рассеянно массируя шею. – Люди заметят, начнут спрашивать. Многие женщины потеряли мужей на войне. Говорите всем, что вы вдова. Это мой кофе? – Он шагнул вперед. – Я сам отнесу.

\* \* \*

Когда я вышла в город с кольцом на пальце и в новых удобных туфлях, то впервые в жизни почувствовала себя красивой и элегантной. Теперь ко мне вежливо обращались местные дамы, рыночные торговцы предлагали скидки. Профессор получал немного, несмотря на его звание, у него была временная должность, состряпанная из любезности коллегами, и приходилось экономить деньги, которые он давал мне на продукты, но перед улыбкой и тирольским акцентом никто не мог устоять: продавцы снижали цены.

Однажды на улице меня остановила молодая женщина, ненамного старше меня, толкавшая коляску с пухлым младенцем. меховая короткая шубка распахнулась, показав плохо сидящее шерстяное платье, слишком сильно обтяги-

вающее полную грудь.

– Gnädige Frau<sup>10</sup>, извините за вопрос, но где вы взяли это платье?

Я вздрогнула от ее вопроса и оглядела платье. Сколько времени я на него потратила, меняя фасон, перекроила его, сместив вихревой зеленый и черный рисунок, но внизу оставила изначальную модную черную плиссированную оборку.

– У фрау Остер, – ответила я. – Она была так добра ко мне.

– Я так и думала. Я от него отказалась, потому что выглядела как капуста. Но на вас – совсем другое дело, смотрится просто изумительно. Сами перешили?

И, не дожидаясь ответа, открыла сумочку.

– Послушайте, я живу здесь.

Она положила визитку в мою корзинку среди овощей и завернутой в газету форели.

– Приходите. У меня столько платьев, которые нужно перешить. Конечно, я заплачу. Всего доброго.

И покатила коляску с ребенком по тротуару.

Я смотрела ей вслед: она была чуть старше меня. Во время той мимолетной встречи она ни на минуту не отпустила коляску. Наклонившись, достала сумку, лежавшую на заботливо подоткнутом одеяле в ножках у ребенка, открыла ее и вынула одной рукой карточку, другой крепко держа коляску. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала, главным для нее

---

<sup>10</sup> Любезная госпожа (нем.).

было материнство. С ребенком ее связывали невидимые узы. Я положила руки на свой круглый тугой живот.

В этот момент отвлеченное понятие беременности стало осязаемой реальностью. До него я не понимала по-настоящему, что в этом разбухшем животе растет ребенок, мое дитя. И кончится война или нет, но через четыре месяца мне неизбежно рожать. Либо я отдам ребенка монахиням, либо стану матерью. Я проводила взглядом женщину с коляской и почувствовала в животе толчок.

Когда женщина исчезла из поля зрения, я достала из корзинки визитку, на которой было написано: «Фрау Ида Шуртер». До тех пор я выживала на благотворительности и доброй воле, но понимала, что когда-то придется зарабатывать деньги. Эта уличная встреча открыла передо мной целый мир возможностей. Останься я в Оберфальце, то унаследовала бы ресторан с баром и пошла по стопам матери. Но я ушла и теперь могу сама выбирать свое будущее. Нужно учитывать, что Томас может не выжить в этой войне, не приедет и меня не найдет. Придется самой зарабатывать на жизнь, а что может быть лучше, чем профессия портнихи? Ведь это я умею.

\* \* \*

Визит к фрау Шуртер увенчался успехом. Для начала она попросила меня переделать пару платьев. Первое, сшитое из

хлопчатобумажной ткани в цветочек с атласным плетением, я просто изменила так, как она просила. Вторым оказалось темно-серое шерстяное платье. Фасон, *ma chère*, сказать, что он ей не шел, – значит, ничего не сказать. Я взяла на себя смелость переделать его в такой наряд, чтобы не только подходил ей, но и красил, подчеркивая достоинства фигуры. Увидев платье на вешалке, она скептически поджала губы, но, как только примерила и посмотрелась в зеркало, недоверчивость рассеялась и перешла в восторг. Когда после первого заказа она вложила мне в руку банкноты и монеты, чувство, что я держу деньги, заработанные вполне доступным собственным трудом, ошеломило.

По дороге домой я купила небольшой пакет шоколадных конфет для профессора – первый в жизни подарок. Остаток, не так уж и много, спрятала в носок у себя в комнате. Я и не ожидала, что так обрадуюсь.

День и ночь я сидела, кроя и отделявая, ушивая и распуская, удлиняя и укорачивая, придумывая фасон и подгоняя по фигуре платья ее подруг и их знакомых. Вот такой ускоренный курс кройки и шитья и бизнеса. Владение иголкой оттачивалось с каждым новым заказом, навыки переговоров с заказчиком тоже. Вскоре я купила подержанную швейную машинку. Пришлось немного потренироваться на обрезках ткани и старом платье, но, освоившись, я поняла, что с увеличившимся объемом работы я, как Румпельштильцхен, пряла золотую нить.

Пальцы сами, словно по волшебству, кроили и шили, а за годы работы в баре я научилась общаться с людьми. Я работала, копила и мечтала о собственной швейной мастерской.

Каждый раз, получив деньги, я откладывала на ребенка, на мастерскую и покупала что-нибудь изысканное, шоколад или душистое мыло для профессора. И была счастлива.

У нас с профессором установился негласный распорядок дня. Он проводил утро в Высшем коммерческом училище, потом, придя домой, обедал, спал, вторую половину дня читал, сидя в кресле, или писал за письменным столом.

У меня утро проходило в уборке, стирке, глажке, ходьбе по магазинам и приготовлении обеда. Днем я посещала клиентов, снимая мерки, скалывая детали булавками, делая зарисовки и слушая пожелания, потом возвращалась домой.

Вечера мы коротали вместе: я шила, а он читал. Поняв, как мало я знаю о мире, он стал зачитывать газетные статьи вслух. Пока кроила, скалывала булавками, гладила, строчила платье за платьем, я узнавала о безумиях, кровопролитиях и яростных силах, сталкивающих армии на поле боя.

Однажды вечером профессор заметил, как я вздрогнула.

– Что случилось?

– Ребенок, – поморщилась я. – Толкается.

Иногда в животе порхали бабочки, но иной раз возникали болезненные толчки.

– Ребенок растет, и ему требуется больше места, – встав с

кресла, сказал он и протянул руку. – Можно?

Я заколебалась. Мы жили бок о бок, но никогда не прикасались друг к другу, кроме той ночи, когда он рассказал о своей семье.

– Да, – наконец согласилась я.

Он положил руку мне на живот и ждал. Когда ребенок взбрыкнул, он тепло улыбнулся, и я ответила ему улыбкой. Мы словно пересекли невидимую границу.

– Вы решили, что будете делать потом? – обычным тоном, но пристально глядя мне в глаза, спросил он.

– Я коплю деньги, чтобы открыть швейную мастерскую.

Он уставился на меня.

– Понятно. Хороший план. Но я говорю о ребенке.

– Ой, – поняв ошибку, покраснела я. – Еще нет.

Он долго смотрел на меня, потом сказал:

– Не отказывайтесь от него.

Иногда я бросала работу, клала руки на упругий растущий шар, и ждала, что живот вспучится, когда ребенок пошевелится или толкнет меня. Научилась различать, когда он спит, и ждать бурной деятельности, когда ложусь спать я. Ощущение другого существа внутри стало спасением от терзающего одиночества, которое я испытывала, несмотря на... или благодаря атмосфере счастливого дома, которую мы с профессором старательно поддерживали.

Я купила ребенку одежду... просто, чтобы не оставлять

его гольшом, говорила я себе. Ребенок во мне рос, и мне пришлось отпускать платья, ходить, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, но я так и не решила, куда его отдать.

В редкие минуты отдыха моя рука постоянно лежала на раздутом животе, как бы выражая те чувства, которые я сама еще толком не поняла.

Живот рос, и меня замучила отрыжка от несварения желудка. Я пошла в аптеку и, пока ждала лекарство, антацидное средство, которое фармацевт наливал в стеклянную коричневую бутылочку, наблюдала, как его помощница достала толстый рулон ваты. Развернув его, отмерив и отрезав нужный кусок, она завернула его для покупательницы. Такого рулона я не видела давно, со времен последних месячных.

Фармацевт принесла помощнице бутылочку с лекарством для меня.

– Что-нибудь еще?

Я показала на белый рулон.

– Метр ваты, пожалуйста.

Пригодится вытирать ребенку попку.

## Глава 6. Аспирин

Любой шкафчик в ванной – и ты в этом убедишься, стоит только распахнуть зеркальные дверцы, – это линия фронта между нашими поисками молодости и красоты и борьбой с недугами и медленно подкрадывающейся смертью. С возрастом соотношение меняется: радужную палитру лака для ногтей, губной помады, теней для век, тушь для ресниц, румяна, пудру и тональный крем теснят флаконы с лекарствами, тюбики с мазями, баночки и упаковки с таблетками. Ох, *ma chère*, это медленный марш смерти, победа белых пластиковых аптечных пузырьков над губной помадой, отступление Dior, Lancôme, Chanel и наступление Johnson & Johnson, Pfizer и Procter & Gamble. Однако я не променяла губную помаду, красиво уложенную в черный футляр, на скучные белые пузырьки микстур и химикатов. Они меня еще не одолели.

Некоторые, правда, я все же держу при себе: витамин С, аспирин и пенициллин. Их важность я оценила давным-давно.

Аспирин известен с незапамятных времен. Еще тогда, когда люди ходили в шкурах – я про дубленые и высушенные, отделанные и сшитые, а не просто наброшенные на плечи, – шаманы применяли листья и кору ивы для лечения боли и лихорадки. Гиппократ пользовал ею еще за четыреста лет

до нашей эры. Теперь нам известно не только противовоспалительное и обезболивающее действие аспирина, он предотвращает закупорку кровеносных сосудов. Когда мать узнала, что меня изнасиловали, она дала мне аспирин. Жалкая попытка! Разве аспирин облегчил бы боль отцовского предательства, моего унижения или насилия Шляйха, ума не приложу? Похоже, это был символический жест пойманного в ловушку. Мне так и не пришлось поговорить с ней об этом.

\* \* \*

Утром двадцать первого июля 1944 года профессор, взволнованный сообщением по радио о покушении на Гитлера, выскочил из дома купить свежую газету.

В то утро я все делала медленно. Тупая постоянная боль не дала мне как следует выспаться, и я чувствовала себя разбитой. Но до предполагаемой даты родов оставалось несколько недель, и я не беспокоилась. Я очень осторожно несла к мойке фарфоровый розенталевский кофейник, одну из немногих вещей из приданого жены, привезенных профессором из Лейпцига. Когда гестапо разграбило квартиру, его вместе с несколькими другими вещами спас сосед.

Вдруг ниоткуда накатила волна боли. Она ошеломила меня, и я упала на пол, судорожно глотая воздух. Кофейник выскользнул из рук и разбился о кафельный пол. Стоя на четвереньках, я тяжело дышала, наблюдая, как кофейный ру-

чек бежит между темными зернами и белыми фарфоровыми осколками. Может, так я подсознательно преодолевала страх, но я больше беспокоилась о разбитом кофейнике, чем о себе.

Боль ушла, я собрала осколки в старую газету, чтобы позже показать профессору. Как только я потянулась за тряпкой в мойке, вторая схватка отбросила меня вперед. Я вцепилась в край каменной мойки и судорожно хватала ртом воздух. Когда немного отпустило, по ногам потекла теплая жидкость.

Сейчас трудно поверить, но, прежде чем доползти между схватками до ванной, я опустилась на колени и помыла в кухне пол.

И по крайней мере поняла, что на четвереньках боль переносить легче всего. Я скинула с себя нижнее белье и замочила в тазике. Мне хотелось помыть ноги, прежде чем идти к доктору Остеру, но вскоре поняла, что никуда не дойду. Схватки шли быстрой чередой, не успела я прийти в себя и встать, как нахлынула другая. Я опустилась на корточки на коврик и облокотилась на ванну, тяжело дыша и отдыхая, потом снова хватаясь за ванну при очередной волне боли. Нестерпимо хотелось вытолкнуть из себя ребенка.

Не знаю, сколько я так просидела, пока не услышала голос профессора.

– Роза! Вы здесь?

Ответить я не успела – меня тискаами сжала новая схватка.

Пытаясь подавить крик, в полной растерянности зажала рот рукой. Он не должен видеть меня такой. Я была похожа на запыхавшегося дикого зверя. Мне хотелось запереть дверь, но сил хватило только на то, чтобы повернуться.

Его шаги слышались у самой двери ванной. Он постучался, и каждый звук, каждое ощущение будто преувеличивалось, от каждого стука я вздрагивала.

– Роза?

Я застонала.

– Я войду.

– Нет, – взвыла я. – Нет, нельзя!

– Так надо!

Он открыл дверь, оценил происходившее и попятился.

Я услышала, как он звонит доктору Остеру.

Потом вернулся со стаканом воды и чистой тряпочкой вытер мне лоб. Я и не подозревала, что хочу пить, но большими жадными глотками опустошила стакан.

– Знаете ли вы, – сообщил он, словно мы пили чай в кафе, – что в Африке женщины при родах садятся на корточки, и у индейцев тоже.

Стакан, который он прижимал к моим губам, дрожал.

Я хмыкнула.

– А вы держитесь молодцом. Такая смелая.

– Больно, – охнула я.

– Жена говорила, надо потерпеть только один день. Завтра вы об этом забудете.

Когда меня накрыло очередной волной боли, я закричала. Потом немного отлегло, и я фыркнула:

– А вы ей так и поверили?

– Она прошла через все это второй раз, – улыбнувшись, заметил он. – Пойду опять позвоню.

Он вышел из комнаты и через минуту с озабоченным видом вернулся.

– Мои сыновья – близнецы, – рассеянно пробормотал он. – Они появились – бац, бац – один за другим. Крохотные, вышли легко, не то что Ирма. Она была крупным ребенком – четыре с половиной кило.

Меня снова пронзила боль, я напряглась и потужилась.

Теперь схватки стали чаще.

– Вот это правильно, – успокоил он, присев передо мной на корточки. – Дышите глубже. Похоже, доктор Остер опоздает. Наверное, помогать придется мне.

Я кивнула. Говорить не могла.

Заручившись моим согласием, он вымыл руки и, достав из шкафа чистое полотенце, опустился передо мной на колени.

Боль перешла на новый уровень. Она стала такой сильной, что я представляла ее переливчатым облаком из крохотных белых и синих ножей, протыкавших внутренности. Та, кто я есть или кем была, отступила на задний план – мое тело стало сосудом для родов, а я сторонним наблюдателем.

Я посмотрела вниз: из меня высовывался наружу розовато-серый округлый купол со светлыми прожилками.

– Роза, осталось чуть-чуть, – подбодрил профессор. – Потужитесь еще два или три раза – и все.

Подоспела следующая схватка. Я кричала и тужилась. Боль сине-белой молнией пронзила меня насквозь. Когда она отступила, я боялась посмотреть вниз: меня будто разорвало пополам.

– Смотрите, да вы почти управились!

Между ног виднелась крохотная головка на белой массе.

– Роза, будете тужиться в следующий раз, ребенок выйдет, и я его поймаю.

Я кивнула, снова приходя в себя.

Боль нахлынула снова, я закричала и напряглась изо всех сил. А когда открыла глаза – все закончилось, и профессор с повлажневшими глазами, улыбаясь во весь рот, держал на руках дитя.

Ребенок закричал.

– Ай, молодец! Как славно! – засмеялся профессор, заворачивая дитя в полотенце. – У него богатырские легкие.

– У него?

– Да, это мальчик, хорошенький. И он, кажется, проголодался.

Профессор вручил мне сверток, и я прижала его к себе. Ребенок был крохотный, розовый и лысый, личико сморщенное от отчаяния или шока, не разобрать.

– Привет, малыш, – умиротворенно сказала я.

И будто в ответ на мой голос он перестал кричать и взгля-

нул на меня.

Профессор смыл кровь с рук и накрыл меня полотенцем.

– Пойду выясню, что случилось с доктором Остером.

Я вглядывалась в крохотное детское личико, боясь обнаружить черты его отца, но увидела только глаза, темно-синие, как летнее небо в горах. Меня захлестнуло волной любви и радости, и в тот момент я поняла.

Ребенок – не убудок Шляйха. Он мой сын.

В него влюбилась не только я. Неделю после его рождения профессор не позволял мне ничего делать, только отдыхать и кормить.

– Справлялся же я с этим раньше и теперь смогу, – отклонял он мои протесты, мягко толкая назад в кровать.

Когда бы я ни оставляла спящего ребенка и вставала сварить кофе или принять ванну, то, вернувшись, видела, как профессор смотрит в кроватку, иногда улыбаясь, иногда роняя слезу.

– Послушайте, Роза, – где-то через неделю заметил он, – нельзя же его вечно звать ребенком. Он имеет право на имя.

– Знаю, – вздохнула я, – но это так трудно.

– Но, наверное, есть какие-то мысли?

– Я думала о Томасе.

– Как Томас Фишер?

Он посмотрел на меня, потом на ребенка.

– Значит, Томас...

– Нет-нет, – поспешила объяснить я, – отец не он.

– Не он?

Я никогда не видела посланного Томасом письма, и мне и в голову не приходило, что профессор вообразил, что Томас был отцом ребенка.

Мне хотелось быть честной, но с того болезненного признания Кристль я никому не рассказывала, через что прошла, и теперь боролась сама с собой, чтобы сказать это вслух и открыть неприглядную правду.

– Меня изнасиловал фельдфебель Томаса, – наконец призналась я. – А Томас жалел меня, и мы полюбили друг друга.

Наклонившись, я поцеловала малыша в лоб.

– Я не ожидала, что полюблю ребенка. Но теперь понимаю, что он мой сын, и я не хочу, чтобы тот негодяй портил ему жизнь. Он ему не отец.

– Понятно. Простите, Роза, я даже представить не мог...

Профессор протянул ко мне руки.

– Можно мне?

Я передала ему ребенка.

– Знаете, его не в чем винить. Он невиновен.

И чмокнул ребенка в лысую макушку. Ребенок зашевелился, и он отдал его обратно.

– А как звали ваших отца и деда?

Ребенок почти заснул, но открыл рот и стал всасывать воздух.

Я поднесла его к груди.

– Назову его Лорин.

– Как?

– Лорин. Так зовут герра Майера, почтальона, который помог мне бежать.

– Лорин Кусштатчер. Мне нравится.

Я забыла о своих смутных планах отказаться от Лорина. Профессор продолжал читать мне вслух газеты, война кончилась, и надежда вернулась.

Я все шила и шила, и мои сбережения понемногу росли.

В течение двух лет мы так и жили, счастливее, чем моя семья в Оберфальце. Профессор любил Лорина, и тот платил ему тем же.

В апреле 1946 года профессора пригласили посетить вновь открывшийся Лейпцигский университет. Я боялась, что ему предложат работу, и старалась не думать о том, что это значит для нас с Лорином. Если он согласится, то вернется в Германию, а я останусь в Санкт-Галлене одна.

Вернувшись из Германии, профессор молчал, и только, когда я убрала со стола, проверила, как там Лорин, и пришла в гостиную шить, он отложил газету и внимательно посмотрел на меня.

Я подшивала юбку и так разволновалась, что порвала нитку.

– Я решил отказаться от работы, Роза.

Юбка выскользнула у меня из рук, и я перевела дух, пы-

таясь не выдать облегчения.

– В Лейпциге вас плохо встретили?

– Да ну, лучше быть не могло, – вздохнул он. – Я им нужен, чтобы восстановить работу факультета, все, разрушенное нацистами и войной. Предложили мне подобрать новый штат преподавателей и сотрудников, хорошую квартиру, щедрую зарплату – все. Но...

Я перевернула юбку и воткнула иголку.

– Но что?

– Но каждый раз, пожимая кому-то руку, с кем-то здороваясь, я размышлял, а что сделал или не сделал этот человек за последние несколько лет. К прошлому не возвращаются.

– Значит, вы останетесь здесь, и я с вами, помогать вам по дому, – заметила я, подтверждая то, что мне хотелось услышать.

Он улыбнулся моему быстрому ответу.

– Вы предпочитаете ничего не менять?

– Ну конечно, – подняла голову я. – А вы?

Помедлив, он грустно покачал головой.

– Нет, я не могу здесь остаться. Не могу жить в крематории.

– Но ведь все произошло в Германии.

– В Европе, – жестко ответил он. – Это не только призраки моих родных, таких миллионы. Я не останусь там, где все это происходило. Мне нужна другая жизнь, чтобы все начать заново.

– И куда вы собрались?

– В Палестину.

– На Святую землю?

Он смотрел, как я подшиваю юбку, и вопреки моему желанию стежки ложились слишком плотно. Я шила платье для беременной подруги фрау Шуртер. Моя жизнь трещала по швам, я была в шоке, но не выпускала из рук иголку.

Он будто зацепился за нитку, и, если хоть чуть за нее потянет, все расплзется.

– Когда едете? – отрывисто спросила я.

– Как только все устрою.

Иголка почему-то застряла в ткани, и я никак не могла ее проткнуть.

– Без нас?

– В этом вся загвоздка, – признался он и, как всегда, когда переживал стресс, потер сзади шею. – Я всю дорогу о вас беспокоился. Мне не хотелось бы вас бросать, но никак не придумаю, как взять вас с собой. Вы мне не дочь, и, как бы я ни любил Лорина, он мне не сын.

Он помолчал, моя иглолка наконец прошла сквозь ткань, и, хоть пальцы и дрожали, я продолжала шить.

– Вы мне не родственники, но стали моей семьей. Вы все, что у меня осталось в этом мире. И потом, мне пришло в голову, если бы мы поженились, вы могли бы поехать со мной как жена, а Лорин стал бы мне сыном.

Я воткнула иголку в ткань. Он смотрел не на меня, а на

газету, потом перевернул ее, встал и, дойдя до камина, коснулся фотографий погибших детей.

– Когда вы сюда приехали, я и не предполагал, что снова полюблю. У меня была семья, и я ее потерял. Мне хотелось высохнуть, как умирают осенние листья, и улететь прочь. Но вы перевернули все. Я вновь ожил.

Раскрасневшись, он смотрел на меня горящими пронизательными карими глазами. В Германии он подстриг седую бородку и с правильными острыми чертами лица, наверное, был очень привлекателен в молодости. «Гусиные лапки» и морщинки только подчеркивали его улыбку.

– Я дам вам с Лорином свою фамилию и защиту. Понятно, что я старше вас, но еще не совсем стар. Мы жили бы настоящей семьей.

Кровь отхлынула от моего лица. Не может быть, что он такое говорит? Настоящая семья: муж и жена. Я многим была обязана этому доброму человеку, но выходить за него замуж...

Я заставила себя ответить:

– Даже не знаю что сказать.

– Сейчас ничего не говорите.

Он взял меня за руки и нежно притянул к себе. Мы стояли лицом к лицу. С тех пор, как он принял Лорина, мы не были так близки. Мне не хотелось его обижать, и я не стала сопротивляться.

– Спокойной ночи, Роза.

Он наклонился ко мне, и я закрыла глаза. Его мягкие теплые губы коснулись моих. От него пахло путешествием, сигаретами и сырой шерстью.

– Подумайте об этом. Завтра я начну готовиться к отъезду.

Он, повернувшись, вышел из комнаты, а я рухнула на стул.

Голова у меня шла кругом. Последний раз чужие губы касались моих при прощании с Томасом. Он обещал меня найти. Томас был человеком чести, а значит, если жив, сдержит слово. Я его все еще любила, еще помнила, как он касался меня нежными руками, когда я закрыла ночью глаза, хранила память о поцелуе. Но я понятия не имела, сколько его ждать, прежде чем придет время сдать ся.

Пойми, *ma chère*, с тех пор, как я бежала из Оберфальца, прошло больше двух лет. Однажды я написала гетру Майеру, когда устроилась в Санкт-Галлене, и он сообщил, что Томаса куда-то перевели и адреса он не оставил. Прошел почти год, как окончилась война, а теперь профессор меня поцеловал. Прикосновение его губ меня никак не тронуло, только смутило. Он был по-прежнему со мной обходителен и добр, ничего не лишал, никогда ничего не требовал, но после его предложения наша жизнь неизбежно должна была измениться.

На следующее утро, развернув новую ткань Иды Шуртер

на огромном обеденном столе для гостей, я понаблюдала за мальчиками.

Макс тащил по полу гирлянду деревянных уточек, а Лорин шел за ним и смеялся каждый раз, когда утки крякали, и я смеялась с ним вместе. Лорин любил приходить сюда.

И тут я поняла, что фрау Шуртер мне говорит:

– ...но все равно мне понравился цвет, такой густой лиловый.

Я потрогала пальцами ткань, заставляя себя сосредоточиться на ее словах. Тяжелый шелковый атлас, идеальный для осеннего и зимнего вечернего платья.

– У вас уже есть на примете фасон? – спросила я.

– Знаете, Роза, я полагаюсь на ваш вкус. Ой, мальчики, только не здесь, – проговорила она и, взяв Макса за руку, вывела его из комнаты. Крики и смех мальчишек, сменявших друг друга, раздавались в коридоре.

– Роза, что-нибудь случилось? – немного погодя спросила появившаяся на пороге фрау Шуртер, изучая меня добрыми глазами.

Я постаралась непринужденно улыбнуться.

– Нет, а что?

– Ну, я поиграла с мальчиками, покормила их, уложила спать, а вы...

Она подошла к столу и подняла мой блокнот.

– А вы ничего не сделали.

Я посмотрела на блокнот. Обычно после такого утра я на-

брасывала три-четыре фасона ей на выбор.

– Извините, что-то сегодня не могу сосредоточиться.

Я тяжело опустилась на стул.

– Понимаю, – ответила она и взглянула на страницу, где было написано два слова: «Палестина» и «Санкт-Галлен», и между ними нарисован большой вопросительный знак. – Так в чем дело?

И тогда я ей рассказала. Она слушала, перебивая только, чтобы уточнить детали, и я поведала ей все без утайки. Когда слова слетели с языка, в голове стало немного яснее. Мой рассказ стал реальностью.

– ...и предложил мне выйти за него замуж, и тогда мы будем в безопасности.

Она хмуро молчала.

– Да, в безопасности, но, Роза, вы же его не любите, то есть любите, но не так.

– Он мне больше как отец, а не муж. В общем, здесь что-то не так.

– А представьте себя рядом с ним... по-настоящему?

Я закрыла глаза. Ничего. Вспомнила, как лежали с Томасом в ту последнюю ночь в Оберфальце, живот сразу напрягся. Снова подумала о профессоре. И опять ничего.

– Нет, не представляю, – наконец ответила я. – Но я люблю его, и он любит меня и Лорина.

Фрау Шуртер поджала губы и нахмурилась.

– Вот только не надо приносить себя в жертву.

– Но я не могу думать только о себе. Нужно думать о Лорине. Он любит профессора.

Она покачала головой.

– Вас он любит больше. И потом, он всего лишь ребенок и любит всех, кого знает: Макса, меня тоже, но это не значит, что вы не должны от нас уезжать.

Она налила кофе, добавила молока и помешала.

Потом предложила кофе мне, и я с благодарностью взяла чашку.

– Фрау Шуртер, что же мне делать?

Она поставила свой кофе на стол и засмеялась.

– У меня нет ответа. Мне повезло, у меня не было других желаний, кроме как выйти замуж за хорошего человека с хорошим счетом в банке. Оттмар – управляющий банком, мужчина моей мечты.

Она со вздохом взглянула на меня и пожала плечами.

– Но у вас, Роза, талант. Это совсем другое дело. Вам нельзя оставаться здесь, в Санкт-Галлене, или сажать деревья на полях Палестины. Вам нужно в Париж. Если вы добьетесь там успеха, то станете как Коко Шанель, богатой женщиной, и сами сможете обеспечить и Лорина и себя, без мужчины. Новомодная идея, да, но после войны многое изменилось. По всей Европе женщины трудятся за мужчин, многим вдовам приходится работать.

Я смотрела на нее, прикусив губу.

– Конечно, вы не поедете в Париж немедленно, – продол-

жала она, – придется начать здесь, найти клиентов, может, открыть мастерскую, приобрести связи, а потом, набравшись опыта, поехать в Париж. У вас получится. Я верю.

И словно свеча во тьме, передо мной возникло блестящее будущее, о котором я не смела даже мечтать. В мерцающем свете нарисованной ею картины внезапно мелькнул выход, дорога вперед. Потом он погас так же мгновенно, как и появился, стертый суровой реальностью.

– С Лорином ничего не получится. Ему лучше жить в семье.

\* \* \*

В ту ночь я не спала. Фрау Шуртер была права. Я была талантлива и не без честолюбия. Я набрала много клиентов. Все больше поступало заказов на пошив платьев с нуля, а не подгонку и переделку готовых. Дамы доверяли мне самой подбирать фасон, а не копировать из журналов мод.

Я уже нюхом чуяла, что, будь у меня возможность, я в этом преуспею. Вопрос только – где? Я любила профессора как отца, наставника и опекуна, но не мужа. Передо мной стоял выбор: либо я остаюсь с профессором и обеспечиваю Лорина семьей и хорошим отцом, но при этом жертвую своими мечтами и страстями, или же мы идем своим путем. Я рассудила так: уж если я пережила изнасилование, то интимная жизнь с профессором хуже не будет. Когда надо, мож-

но закрыть глаза, а со временем, глядишь, все утрясется. Будем жить в безопасности, заботливо растить ребенка, хоть и в чужой стране. Разумнее решения не найти, но душа, как ни странно, противилась.

Снова и снова проигрывая разные варианты, я поняла, как мне нужно поступить. Из Оберфальца я ушла сама, теперь профессор мог оставить меня здесь одну. Трудно, но не смертельно, хотя придется найти способ сводить концы с концами, платить ренту, покупать продукты, ухаживать за Лорином и за собой. Остаток ночи я просматривала счета, хранившиеся в тетради, вычисляя затраты, растущие доходы и расходы, оценивая, с чем придется столкнуться без профессора, но, как бы я ни урезала расходы, чем бы ни жертвовала как недоступной роскошью, ничего не выходило.

Нужной суммы не набиралось. Без финансовой поддержки профессора я не могла ни снять квартиру, ни удовлетворить наши нужды, ни открыть мастерскую.

Нужно было копить деньги и совершенствовать навыки.

Но профессор ясно дал понять, что времени на это у меня нет.

Я вспомнила слова фрау Шуртер. Раньше я мечтала о Париже, но никогда не воспринимала это серьезно. Чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, что фрау Шуртер ошибается. Останься я в Санкт-Галлене, времени уйдет слишком много. Нет, сначала я должна поехать в Париж и броситься в омут с головой, работать и копить, а уж потом

возвратиться и открыть мастерскую. Она была права в том, что Лорин любит ее и Макса и что герр Шуртер хороший человек.

Приняв решение, я стала действовать, зная, что если задержусь, то кому-нибудь проболтаюсь. И тогда приду в себя и поступлю разумно. А пока я поддаюсь порыву, инстинкту выживания. Сейчас люди говорят о борьбе или побеге.

Единственной возможностью бороться для меня оказался побег.

Я вошла в кабинет профессора и взяла бумагу. Когда слова закончились, сняла подаренное профессором золотое кольцо. На бумаге обручальное колечко казалось очень маленьким. Я положила письмо и кольцо в конверт.

Собралась я быстро, вскоре на улицах появятся люди.

Пришив потайной карман к пальто, я положила в него денег с расчетом продержаться с месяц, а остальные сбережения положила в носок и завернула его вместе с одеждой Лорина в одеяло и положила сверток на решетку под его коляской.

Главное, чтобы Лорин не шумел, потому что профессор обычно просыпался от его криков, но, к счастью, ребенок не шевельнулся. Оказавшись на улице, я покатила коляску к дому фрау Шуртер. На какой-то момент, глядя на Лорина, любимого сыночка, я засомневалась в своем решении. Круглолицый бутуз со светлыми волосами, вьющимися вокруг сонного личика, он был похож на херувима с церковной фрески.

Такой красавец! Поцеловав его на прощание, я постучала в дверь и побежала на станцию.

Первый поезд на запад отправился сразу после посадки. Когда городок остался позади, я открыла чемоданчик, который герр Майер нес для меня через перевал в Швейцарию. Среди платьев я нашла маленькую картонную коробку, что он вручил мне на прощание.

– Швейцарское лекарство, – пояснил он. – Удивительно, но оно лечит от многих недугов.

Еще никогда в жизни я не искала облегчения от боли, как тогда, поэтому, открыв пакет, достала маленькую белую таблетку. Сомневаясь, что она избавит меня от жгучей боли, пригвоздившей меня к месту, я дала сладко-кислой таблетке раствориться во рту. Аспирин – известный целитель от всех болезней. И пообещала, что вернусь за Лорином.

Боль никогда меня не отпускала. У меня в шкафчике до сих пор лежит аспирин.

## Глава 7. Номер пять

Может, тебя это удивит, в этот момент я применяю парфюм.

Да, *ma chère*, я пока не одета, но мне нравится капнуть им здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Всегда с обеих сторон: симметрия в запахе так же важна, как и во внешности. За ушами, на внутренней поверхности запястий, капельку в ложбинку между грудями.

Ты замечала, как один и тот же парфюм пахнет словно писсуар у одной женщины и жимолостью и жасмином у другой? Так бывает, когда аромат парфюма смешивается с запахом тела. Мне, например, не идет Chanel No. 19. Я быстро это поняла в первые выходы в свет по неприязненным взглядам, беспокойному сопению и сморщенным носам. За годы проб и ошибок я выбрала несколько изысканных спутников.

Крохотные флакончики, да? Просто я никогда не покупаю туалетную воду, которая в основном состоит из спирта, или даже парфюмерную воду, которая чуть лучше. Я предпочитаю духи с высочайшей концентрацией аромата. Пяти капелек хватает на весь день, более высокое содержание парфюмерных масел благоприятно для кожи по сравнению с дешевой пикантной спиртовой дымкой, испаряющейся через несколько часов.

И ты ведь понимаешь, *ma chère*, что, несмотря на бешен-

ные цены, несколько капель жидкости того стоят. Как большинство качественных продуктов, они выпускаются по роскошной цене в крошечных флаконах, словно маленькие хрустальные банковские сейфы. Взгляни на изысканный дизайн, цвета, формы, как они отражают свет, каждый сам по себе – произведение искусства. На мой взгляд, каждый создает атмосферу.

Аспирин был не единственным сокровищем в маленьком чемоданчике, с которым я покинула Санкт-Галлен.

Предметом вожделения среди моих пожитков был первый взрослый подарок, первая дань почитания меня как женщины. На день рождения профессор подарил мне простой прямоугольный флакон с настоящей хрустальной пробкой, наполненный первым ароматом Коко Шанель.

С тех пор и по сей день Chanel No. 5 всегда со мной. Духи такие женственные, начиная с густого аромата цветов помегранца, плавно переходящего в сладковатый запах жасмина и стойкий и нежный шлейф сандалового дерева.

Задолго до того, как фрау Шуртер заставила серьезно задуматься о поездке, этот парфюм наводил меня на мысль, что в Париже решится моя судьба.

Если мне суждено стать портнихой, лучше города, чем столица моды, просто не найти. Я мечтала поработать в ателье, подучиться приемам, стежкам, кройке. И, подобно фрау Шуртер, восхищалась, как Коко Шанель удалось самой всего добиться.

В 1946 году туристы еще не наводнили Европу, как сегодня. Она лежала в руинах, грудах булыжника с островами разрушенных зданий, будто одна безбрежная гора обломков. Однако Париж был по-прежнему величественным, несмотря на шрамы фашистской оккупации. День и ночь я мерила шагами город в поисках работы и пристанища.

Улицы были засыпаны мусором, каждые несколько шагов приходилось обходить на тротуарах собачий помет, но каждое здание, мимо которого я проходила, ветхое или запущенное, казалось мне дворцом. Я восхищалась высокими окнами и массивными дверями, любовалась через открытые створки со вкусом обставленными комнатами с высокими потолками.

Пачка денег, спрятанных в потайном кармане пальто, таяла день ото дня.

Остановившись в дешевой гостинице у лионского вокзала, я покупала хлеб и сыр в магазинах и пила воду из-под крана, но затраты меня пугали.

Я не забыла первые дни и ночи в Санкт-Галлене. Денег оставалось недели на две. К концу первой я стала экономить на еде, брала тарелку супа в день в недорогом кафе, где можно было посидеть и передохнуть.

С раннего утра до позднего вечера, выйдя из гостиницы, я обходила улочки квартала Сантье – тихие закоулки, где работали за закрытыми деревянными дверями ателье мастера по вышивке, плюмажу, изготовлению пуговиц, плетению кру-

жев. Я ходила от двери к двери, внимательно разглядывая медные таблички с именами и названиями компаний на полированном металле, звонила, искала работу и каждый раз получала отказ. И каждый день, теряя надежду, чувствуя себя глубоко несчастной, возвращалась в гостиницу.

Я отправилась в Париж, мечтая чего-нибудь добиться, а на деле только изнашивала купленные профессором туфли. Я стольким пожертвовала ради мечты, но чем дольше я искала работу, тем больше меня охватывали безнадежность и отчаяние. Я скучала по Лорину и все же каждый день продолжала стучаться в двери, спрашивая и получая отказы, и напоминая себе, что нужно быть сильной, как валькирия, как называл меня Томас, и не прекращать поиски ради сына.

Заканчивался еще один день напрасных поисков, весенний ветерок шевелил на деревьях едва появившиеся листочки на улице Тикетон, когда я свернула за угол на улицу Монторгейль.

Из тех редких случаев, когда меня приглашали обсудить условия возможной работы, я узнала, что очень часто студии располагались на самом верху здания, где помещения были дешевле и лучше освещались, поэтому я научилась стучать и ждать, потом стучать еще раз и еще ждать, прежде чем сдаваться. Я уже собиралась уходить после очередного стука в дверь, когда дверь приоткрылась и угрюмый мужчина окинул меня взглядом. Вид у меня был довольно жалкий, но я подняла голову и спокойно посмотрела на него.

– Слушаю вас, чем обязан? – нерешительно спросил он с заметным акцентом.

У него были темно-карие глаза, черные волосы, острый длинный нос и кожа на порядок смуглее, чем у французов.

– Я ищу работу, – попробовала я спросить по-итальянски. – Отличная портниха, модельер и закройщица.

Он пристально смотрел на меня. Я понимала, что он видел не землячку, а отчаявшуюся дешевую работницу.

– Входите, – буркнул он без намека на вежливость или дружелюбие. – Посмотрим, что вы умеете.

Он широко распахнул дверь и показал на широкую витую лестницу.

– Мы наверху, – сообщил он и зашагал через две ступеньки.

Я ринулась за ним, невзирая на голод и усталость.

Летняя жара ушла, в холодном ателье рано темнело, дни стали короче, воспоминания о голоде и бездомных скитаниях заставляли меня корпеть над стежками. Маэстро улыбался только, когда клиенты приходили понаблюдать, как идет дело, или забрать заказ. Мастерская специализировалась на вышивке вечерних платьев бисером и блестками. Хозяин взял меня, потому что ему была нужна лишняя пара рук для простейшей работы. Жалованье было мизерным, но справедливости ради скажу, что я многому научилась, хозяин стал поручать мне более сложную работу и разрешал ночевать на кушетке у дальней стены. Работала я усердно, хотя

пришивать бисер по рисункам других было совсем неинтересно.

Я проводила время в полном одиночестве, не ища компании, представляя, что сейчас делает малыш Лорин. Я все время о нем думала и, хотя он был далеко, почти физически ощущала его присутствие, словно фантомную боль в ампутированной конечности.

Каждую неделю я посылала письмо фрау Шуртер в Санкт-Галлен, умоляя ее рассказывать Лорину, как я по нему скучаю, как люблю, и вернусь, как только хорошенько научусь, чтобы открыть свою мастерскую.

Каждую неделю я заворачивала заработок между страницами бумаги, оставляя себе только на самое необходимое. Ответов я не получала, никому не сообщая обратного адреса.

К Рождеству поток клиентов возрос, женщины заказывали к празднику что-нибудь особенное. В канун Рождества я работала как в обычный день. В Париже я жила уже почти семь месяцев, но так и не приобрела друзей, с которыми можно было праздновать.

Весь день я работала и с приближением ночи гнала от себя мысли о Рождестве. В прошлом году Лорин вряд ли понимал, что происходит, но в этом году он будет поражен. Я представила, как он ходит вместе с Шуртерами вокруг елки и поет рождественские песни. Отложив работу, я прошлась по улицам, подглядывая в кафе и бары за счастливой жиз-

нюю, бурлившей вокруг. Кругом царило особое ликование, больше, чем в обычные праздники. Назад, в мастерскую, я поднималась по лестнице целую вечность.

К моему удивлению, в мансарде горел свет, хотя я, уходя, все выключила. Из кухни послышался шум, и, когда я вошла, появился маэстро с двумя сколотыми бокалами и бутылкой вина в руках.

– С Рождеством, землячка, – весело сказал он. – В такую ночь нельзя быть одной.

Он поставил бутылку на поцарапанный рабочий стол и вручил мне бокал.

Я выдавила вежливую улыбку.

– Спасибо, но...

– Надо же отпраздновать.

Он говорил торопливо, а глаза странно бегали. Знакомый взгляд. Я так часто видела его у отца – маэстро был пьян.

– Buon natale!<sup>11</sup>

Он глотнул вина.

– Cin Cin<sup>12</sup>, – ответила я, подняв бокал и не пригубив вина. – Я вернулась за шапкой и шарфом.

И поставила бокал на стол.

– Извините, меня пригласили к друзьям.

Подхватив шапку и шарф с вешалки за дверью, я повесила авоську и повернулась перед тем, как уйти.

---

<sup>11</sup> С Рождеством (*ит.*).

<sup>12</sup> Здоровья (*ит.*).

– С Рождеством, maestro!<sup>13</sup>

Следующие несколько часов я гуляла по улицам города, сделав большую петлю до Вандомской площади, где наблюдала, как из машин выходили дамы в блестящих меховых шубках с галантными мужьями, до площади Согласия и назад вдоль Сены, которая ночью казалась медленной и мутной. Когда я вернулась, маэстро ушел. На столе остались пустая бутылка и бокалы. Мне стало так одиноко, и я долго не могла заснуть. В такие ночи я вспоминала Томаса и последнюю проведенную вместе ночь в Оберфальце. Я не знала, жив ли он, погиб ли, а может, пропал на просторах России или Восточной Германии.

Я ничуть не удивилась, что, когда в небе над остроко-нечными крышами засверкали ракеты, возвещая наступле-ние нового, 1947 года, маэстро опять появился в ателье. Бы-ло десять минут первого, и я уже лежала в постели, когда услышала, как открылась дверь. В комнате было так холод-но, что я спала в толстой хлопчатобумажной ночной рубаш-ке и теплых носках, но набросила жакет и встала с постели. Мы встретились на кухне. В руках он сжимал два бокала и бутылку шампанского.

– С Новым годом! – воскликнул он, намереваясь расцело-вать меня в щеки.

Я отступила, и между нами оказался стол.

– Не открывайте, я не пью.

---

<sup>13</sup> Хозяин (*ит.*).

– Но, bella<sup>14</sup>, – засмеялся он. – Это же шампанское! Новый год!

– А мне нужно выспаться, – возразила я, пытаюсь подавить дрожь в голосе. – Вы сами сказали, что завтра нужно закончить заказ, а если я не выплусь, то и работать не смогу.

– Ах, я забыл, что завтра праздник. Можешь поспать.

Он хитро поглядывал на темный вход в крохотную кладовку, служившую мне спальней.

– Нам нужно выполнить заказ, маэстро, мадам Фурнель рассердится, если мы не закончим вовремя. А в другой раз и вовсе не придет, найдет других.

Я посчитала, что угроза потерять лучшую клиентку приведет его в чувство, но он только рассмеялся.

– Ах, tesoro<sup>15</sup>, тебе нужно больше отдыхать.

– Я отдыхаю, когда сплю, – ответила я, стараясь не выходить из себя.

Он начал срывать с пробки серебристую фольгу. Я обошла стол и вырвала из его рук бутылку.

– Маэстро, вам пора уходить. Мы ведь не хотим, чтобы случилось такое, о чем потом будем сожалеть.

– Ну, bella, почему мы будем сожалеть о небольшом празднике?

Он шагнул вперед, обнял меня за талию и притянул к себе.

Я подняла руку и посмотрела ему в глаза.

---

<sup>14</sup> Красавица (*ит.*).

<sup>15</sup> Сокровище (*ит.*).

Его руки скользили по моим бедрам.

– Маэстро, – рассердилась я, – я разобью бутылку о вашу голову, и потом вы меня выгоните. Или я разобью ее о свою голову, пойду в полицию и заявлю, что вы на меня напали.

Он побелел как полотно, и мне стало его жалко.

– Вы ведь неплохой человек, – продолжила я мягче, – просто одинокий, как и я. Но еще раз меня никто не изнасилует. Ясно?

\* \* \*

Весь день следующей субботы я шила себе жакет. Купив недорогую ткань, я разложила ее на большом рабочем столе. Вдохновленная моделями Шанель и вязаными жакетами, которые дома, в горах, носили крестьяне, я выкроила простой прямой силуэт, забыв обо всем под ритм ножниц.

Только я начала сметывать жакет, как в дверь постучались. У меня заколотилось сердце. Заглянув в глазок, я увидела мадам Фурнель.

Не успела я открыть дверь, как она пронеслась мимо меня, не дожидаясь приглашения войти.

– Маэстро здесь?

Она так запыхалась, что едва могла говорить.

У нее была грузная фигура, и четыре пролета винтовой лестницы, как бы величественно они ни смотрелись, дались ей нелегко.

– Нет, – ответила я, – до понедельника не появится.

Мы с маэстро разговаривали по-итальянски, и мой французский был похож на исковерканный итальянский, но мадам Фурнель меня поняла.

– Ох, только не это!

Она побледнела и от выступившей на лбу испарины казалась больной.

– Садитесь, мадам Фурнель, отдохните, – предложила я, выдвигая стул из-за стола, за которым работала. – Я принесу вам воды.

Когда я вернулась из крохотной кухни – если мойку и одинокую конфорку можно считать таковой, – она не сидела на месте. Она нависла над столом, разглядывая только что раскроенную ткань, перемещая детали по столу, рассматривала простой сметочный шов.

– Ваша работа? – не поднимая глаз, спросила она.

– Да, – ответила я.

– Правда?

Она взглянула на меня.

– Все сами, никто не помогал?

Я забеспокоилась. Вдруг она решит, что ткань краденая или я использую хозяйскую мастерскую в личных целях.

– Я шью в свободное время, – объяснила я. – Накопила на ткань и купила самую дешевую, лучше не могла себе позволить.

Мадам Фурнель потерла ткань между пальцами.

– Сами придумали фасон, раскроили и сметали? – про-  
бормотала она больше для себя, чем для меня.

Я немного успокоилась и тщательно продумала ответ. Не хватало еще нарваться на неприятности – люди так ревностно относились к фасонам, – но я решила признаться:

– Да, меня вдохновляет Шанель... люблю ее работы и стиль. Но основа все же из моих родных мест.

– А откуда вы родом?

– Альпы, – ответила я и добавила: – Северная Италия, – не ожидая, что ей это о чем-то говорит.

– Акцент у вас неитальянский, – задумчиво глядя на меня, заметила она и, вернувшись к моей работе, резко заключила: – Здесь вы только растрчиваете свой талант.

Она выпрямилась во весь рост, насколько позволяло плотное телосложение, и заглянула мне в лицо.

– На вашем месте я бы быстренько собрала вещички и ушла отсюда.

Я тупо смотрела на нее. Что за ерунду она несет?

– Я предлагаю вам работу, – с подчеркнутым терпением произнесла она. – Платить буду вдвое больше, чем маэстро, и обеспечу хорошее обучение. На бисере и блестках вы только зря тратите время.

Я на мгновение остолбенела и потеряла дар речи, но работа с настоящим кутюрье и учеба были мечтой всей моей жизни. Кроме того, побег от периодических попыток маэстро затащить меня в постель был бы очень кстати.

– Так вы идете или нет? – спросила она и, переведя дыхание и придя в себя, уже мягче продолжила: – Я спешу, и в эти выходные придется как следует поработать. У нас запарка.

– Дайте мне пять минут, мадам. Я с вами.

Насчет срочности мадам Фурнель не преувеличивала. В такси по дороге в ателье она объяснила, что больше не работает на себя, а продала компанию и вошла в новый дом моды, и у нее меньше трех недель, чтобы закончить новую коллекцию. Она пояснила, что отчаянно ищет опытных портних и считает, что я буду там процветать.

Я уже дрожала от страха, от неожиданного побега и первой в жизни поездки на такси, и ее короткое объяснение не подготовило меня к смене крохотного ателье на новое рабочее место.

Номер тридцать по авеню Монтень был не обычным домом, а небольшим особняком. Шестиэтажное здание возвышалось на углу улицы, и каждый из пяти этажей купался в свете, проникавшем через шесть огромных окон. И только под серой крышей мансарды комнаты уменьшались до человеческих размеров.

В здании работало множество маляров, окрашивавших его стены в белый и серый цвета.

Я остановилась у подножия лестницы, опершись о чугунные перила, чтобы прийти в себя. Всего несколько лет назад я жила в простой горной деревушке и сейчас чувствовала се-

бя в центре вселенной.

– Ну, следуйте за мной, – скомандовала мадам Фурнель, словно спеленатого младенца, неся на руках раскрытый мной жакет. – У нас всего три недели, чтобы закончить первую коллекцию.

Она пыхтела, взбираясь по лестнице, пробираясь мимо людей, бегущих вверх и вниз. Я еще никогда не видела такой армии рабочих и старалась не отвлекаться.

– Нужно сшить девяносто платьев.

Она остановилась на лестничной площадке. Дверь перед нами вела в большое ателье. Десятки мастериц и несколько мужчин склонились над тканями, стояли рядом с манекенами, скалывали материю булавками, что-то изменяли, пришивали, подрезали. Несмотря на суету и движение, в зале стояли тишина и атмосфера всеобщей глубокой сосредоточенности.

– Мне нужны опытные портнихи. Когда мэтр купил у меня компанию, я привела мастериц с собой и наняла еще нескольких, но рабочих рук все равно не хватает.

В конце комнаты стоял невысокий лысеющий человек и рассматривал на манекене недошитое платье. Рядом с ним ожидали распоряжений помощники, мужчина и женщина.

Мадам Фурнель прошагала прямо к этой четверке, а я плелась следом.

– Месье Диор, – обратилась она, и человек обернулся.

У него было пухлое лицо, тонкие губы и острый нос. Я по-

нятия не имела, кто это, помню, что меня поразили его грустные глаза с нависшими веками. Судя по тому, что я вскоре узнала, *ma chère*, он просто был измучен.

– Да, мадам Фурнель. Чем могу помочь?

И снова повернулся к манекену.

– Видите, я занят.

Помощники испепелили мадам Фурнель взглядами, и она выпрямилась в полный рост.

– Понимаю. Поэтому и наняла эту молодую женщину.

– Она шьет? – не глядя на меня, спросил он.

– Превосходно.

Его взгляд на мгновение задержался на мне, словно бабочка перед тем, как упорхнуть.

– Тогда она ваша.

Мадам Фурнель фигурой напоминала бочку на тонких, как булавки, ножках, и, несмотря на умение создавать сказочные наряды, в которых по ателье с лебединой грацией фланировали манекенщицы, она неизменно носила простой синий костюм. Она была настоящей волшебницей: взяв в руки длинные портновские ножницы или пухлыми пальцами вдев нитку в иголку, она ловко и быстро творила чудеса, создавая из мягкой ткани нечто изумительное. Она приходила на помощь в нужную минуту – а таких критических моментов, требовавших ее немедленного вмешательства, было более чем достаточно.

Из-за сумасшедшей подготовки к церемонии торжественного открытия дома моды Диора в середине февраля все трудились не покладая рук.

В Париж меня манили имя и стиль Шанель, я и не знала тогда, что она живет в Швейцарии. Теперь я оказалась в армии из восьмидесяти пяти мастеров, работающих на износ на этого неизвестного модельера.

Кто-то вкладывал деньги в этого новичка, это было очевидно по размаху, с каким набирали персонал, и вскоре стало понятно почему. Я выросла в мире, изголодавшемся по излишествам после аскетичной жизни в военное время. Слишком долго мы жили в холоде и мраке, обходились тем, что имели, и штопали, перешивали и чинили. После всех этих лет убогого существования появился аппетит к более утонченному стилю, тканям, прекрасному. Диор воспользовался моментом.

Он предложил нам расточительную роскошь и утонченную женственность. Хотел, чтобы мы затянули пояса, как никогда прежде, утянули талию, подчеркнув изящные бедра. Словно замысловатые лепестки цветка мы создавали *Ligne Corolle*<sup>16</sup> Диора, стиль, который я понимала, но не принимала, поскольку, собирая каждую юбку, приходилось сшивать много метров материи. Я выучилась своему ремеслу, перекраивая и переделывая поношенные готовые платья более успешных, чем я сама, женщин, а теперь здесь перелопачи-

---

<sup>16</sup> «Новый облик» (фр.).

вала такое излишество шерстяной или шелковой материи в юбки из прошлого, времен Первой мировой, наряды, одной только тяжестью и корсетами превращавшие женщину в красивую безделушку.

Каждый день отмеряли ткани, и мадам Фурнель раздавала девушкам отрезы для работы. В первые несколько дней от напряжения болели пальцы. Как только кто-то из нас откладывал законченное платье, тут же появлялась мадам Фурнель.

– Ah, bien fait<sup>17</sup>, – говорила она, осмотрев шитье, глазами пробегая ровные идеальные стежки.

Или:

– Придется переделать этот небольшой кусочек, ma chère, тут не очень получилось, согласны?

---

<sup>17</sup> Молодец (фр.).

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.